

СОЛЯНОЙ ТРАКТ

Книга 3

Цикл «Тёплая жила»

Роман Кубов

Роман Кубов
Соляной тракт

«Автор»

2026

Кубов Р.

Соляной тракт / Р. Кубов — «Автор», 2026

Глеб Ветров, инженер из нашего мира, второй год держит Соляной тракт — двести вёрст дороги, по которой никто не ходит: сорок лет назад тепло, что идёт под ней, разделили «на варницы три доли, на тракт одна», а держателя тракту не поставили. Соль в трёхстах верстах стоит одиннадцать копеек, из них девять — дорога. У Глеба есть мерный шест, тетрадь и привычка считать. Он выясняет, что делёжка на сто десятой версте — не бумага, а место: разделённое тепло слушается того, кто на нём стоит. Против него не злодей, а расчёт: хозяин трёх варниц, поверенный соляного дома, палата с её остатком и человек с печатью, который сорок лет вывозит рассол на юг. Чтобы вернуть долю, нужны сто держателей, книга замеров и сход в Усть-Соли — и год, за который придётся заплатить немеющими пальцами, чужим горем и потерей того, чем герой отличался от других. Чем заплатит дорога за то, что её разбудили?

© Кубов Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Счёт	8
Глава 2. Дорога на юг	14
Глава 3. Солёный туман	19
Глава 4. Три варницы	26
Глава 5. Замеры	31
Глава 6. Второй котёл	36
Глава 7. Подпись поверенного	41
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Роман Кубов

Соляной тракт

Пролог

Демьян проснулся от того, что в ушах стоял соляной туман.

Так бывает на варницах в конце лета: рассол в чанах кипит, пар поднимается к потолку, а потом не уходит, а оседает на балках и висит там до утра, и к утру становится солёным. Демьян лежал на полатах и слышал, как пар шуршит по соломенной кровле, и знал, что к обеду всё, что внизу, будет белым.

Ему было сорок четыре. Он варил соль двадцать девять лет, с пятнадцати, и за это время у него на руках не осталось ни одной линии, которую было бы видно без света: ладони были как две доски, тёмные и гладкие, и соль въелась в них так, что и после бани.

Он встал, натянул рубаху и вышел на стан.

Нижний стан стоял на берегу реки Солоной, и в нём было четыре чана под навесом, две печи, колодец с рассолом и две избы для работных. За рекой, на взгорке, была церковь без попа и три двора, а дальше, к югу, — степь, солончаки, белые до того, что на них больно было смотреть.

Демьян подошёл к колодцу и опустил бадью.

Вода шла с глубины в двенадцать сажен, и раньше, когда бадья поднималась, её всегда приходилось держать двумя руками: рассол был тяжёлый, как чужой. Сегодня бадья поднялась легко.

Он поставил её на сруб и посмотрел.

Вода в бадье была мутная и пахла не так, как всегда. Демьян опустил в неё палец, потом лизнул.

Он стоял так довольно долго.

— Что там? — спросил Гурьян, работный, который вышел мочиться и стоял у поленницы.

— Ничего, — сказал Демьян. — Спи.

Гурьян ушёл.

Демьян вылил бадью на землю, взял другую, опустил, поднял, попробовал снова. Потом ещё раз, на другой глубине, потом зачерпнул из чана, в котором с вечера оставался рассол.

В колодце рассол стал слаще, а в чане — солонее.

Он сел на сруб и просидел так, пока не рассвело.

Утром пришёл Аким Фролович Смола, хозяин, и, как всегда, первым делом положил ладонь на обшивку первого чана, будто здоровался с ним.

— Холодный, — сказал он. — Почему холодный?

— Ночь холодная была.

— Ночь была тёплая, Демьян. Я в рубахе спал.

Демьян посмотрел на чаны. В первом рассол стоял как стоял, во втором шёл парок, но вялый, не тот, что прежде: так парят щи, а не рассол.

— Жила садится, — сказал он.

Смола убрал руку с обшивки.

— Что значит садится?

— Значит, меньше тепла идёт. — Демьян вытер ладони о штаны. — С сорокового года идёт с одной силой, а нынче — меньше. Я утром мерил.

— Чем ты мерил?

— Рукой.

Смола рассмеялся, но не досмеялся.

— Слушай, — сказал он. — У меня в книге записано: за прошлый год двенадцать тысяч пудов. За позапрошлый — одиннадцать. Ты мне хочешь сказать, что у меня в чанах меньше тепла, а соли больше?

— Соли больше, — сказал Демьян. — Только она из колодца солонее. Рассол другой. — Он помолчал. — Она, может, и хорошо, что солонее. Только вода в колодце убывает.

Смола посмотрел на колодец.

— Убывает?

— На сажень за месяц.

— Врёшь.

— Пойдём покажу.

Он показал: опустил бадью на верёвке с узлами, которой мерили двенадцать лет, и стало видно, что узел, который всегда приходился на сруб, теперь ниже сруба на две ладони.

Смола смотрел на верёвку долго.

— Что делать? — спросил он наконец, и это было хуже всего, потому что Смола никогда не спрашивал, что делать: он всегда говорил сам.

— Не знаю, — сказал Демьян. — Надо к тем, кто жилы знает.

— К каким «тем»?

— К северным. У них там дорогу подняли, я слышал. Мужики на базаре говорили: за Гривой человек есть, который сеть поднял.

Смола плюнул в сторону реки.

— Сказки, — сказал он. — Сорок лет сказки. У меня соль, у меня книга, у меня четыреста человек. Мне сказки не нужны, мне нужна вода.

Он ушёл к себе, а Демьян остался у колодца.

Через два дня слепой мальчишка пришёл к стану с северной стороны.

Его звали Пронька, ему было двенадцать, и он не был слепым от рождения: он ослеп в шесть лет, после того как просидел зиму у чанов. Таких на варницах было семеро, и все знали, что это от пара, и никто не знал, что с этим делать. Пронька ходил по стану уверенно, потому что знал каждый шаг наизусть, и работал: носил воду, чистил подовые, раздувал мехи.

— Дядька Демьян, — сказал он. — Там у Сухого Лога камень новый.

— Какой камень?

— С буквой.

Демьян выпрямился.

Сухой Лог был в семи верстах к северу, у тракта. Там когда-то стояли два двора, а потом вода ушла, и дворы ушли, и осталось урочище: обрыв, старые ямы да плоский камень на спуске, на котором мальчишки выцарапывали имена.

— С какой буквой?

— С «добро», — сказал Пронька. — Большая. Я её руками трогал.

Демьян пошёл в тот же час.

Он шёл по тракту, и тракт был мёртвый.

Это было самое странное зрелище на свете: дорога, которая никуда не ведёт. Полотно шириной в пять сажен, мостки через овраги, верстовые кольца — всё на месте, всё целое, а по бокам не было ни следа колёс. Сорок лет по нему никто не ездил. Трава пробилась между камнями и стояла ровная, как посеянная, потому что её никто не месил.

Демьян дошёл до Сухого Лога к вечеру.

Камень лежал на спуске, как и говорил Пронька, только он был не новый: он был старый, вросший в землю, и с него только что счистили мох. На боку, гладко, глубоко, будто резали не ножом, а чем-то тяжёлым, была выбита буква «Д».

А рядом, чуть ниже, были царапины.

Демьян сел на корточки и стал смотреть.

Царапины были свежие: камень под ними был светлее. Их было семь, коротких, будто кто-то считал что-то на камне и считал недолго. И ещё была одна, длинная, через всю букву.

Демьян тронул её пальцем, потом приложил ладонь к камню.

Под камнем гудело.

Он знал этот гул: так гудит чан, когда в нём закипает рассол, только тише и глубже, и не в одном месте, а как будто в стороне. Он сидел так довольно долго, а потом приложил ухо к самой земле, и гул стал яснее: он шёл не вверх, а вбок, к югу, к варницам.

И ещё один, слабый, шёл на север.

Демьян выпрямился.

Он смотрел на букву, и в голове у него было очень мало мыслей, потому что все они были заняты одной: сорок лет он варил соль на тепле, которое приходит откуда-то, и никогда не спрашивал, откуда.

А теперь у него было два гула и камень с буквой, и ещё семь царапин, будто кто-то приходил считать.

Он вернулся на стан к полуночи и застал Смола у чана.

— Ты где был?

— На Сухом Логу.

— Что там?

Демьян помолчал.

— Камень, — сказал он. — С буквой.

Смола поднял голову.

— И что?

— И под ним гудит. — Демьян смотрел ему прямо в лицо. — В одну сторону гудит сильнее, в другую слабее. В которую сильнее — там варницы. В которую слабее — там тракт.

Смола долго молчал.

— Слушай меня, — сказал он наконец очень спокойно. — Ты двадцать девять лет варишь соль. Ты хороший солевар. Но если ты пойдёшь по стану и скажешь работным, что у нас тепло уходит на тракт, — они пойдут туда. Не потому, что поверят тебе, а потому, что там не пар. А если они пойдут туда, здесь встанет всё, и я не смогу платить никому.

— Я и не собирался говорить.

— И не говори. — Смола положил ладонь на чан. — И камень этот забудь. Сорок лет стоял, и ещё сорок простоит.

Демьян ушёл к себе и не спал до утра.

Утром он взял мешок, положил туда хлеб, лук, две горсти соли и верёвку с узлами, и вышел со стана, не сказав никому, кроме Проньки.

— Куда ты, дядька Демьян?

— На север, — сказал Демьян. — К человеку.

— А когда вернёшься?

— Когда узнаю, — сказал Демьян и пошёл по мёртвому тракту, на котором не было ни одного следа колёс.

Он прошёл шесть вёрст и обернулся. Стан был виден: четыре навеса, дым над третьим чаном, и пар, который стоял над станом белым столбом, будто кто-то поставил туда свечу и забыл задуть.

— Я туда больше не пойду, — сказал Демьян вслух, как говорил всегда, когда шёл именно туда.

И пошёл.

Глава 1. Счёт

В палате пахло пылью и сургучом, и от этого запаха у меня всегда начинало тянуть в висках.

Мы вошли втроём: я, Зждана и староста Заозёрья Осип Терентьевич, который для такого дела надел кафтан, а под кафтан — рубаху, которую я видел на нём только на сходе. Клим Терентьевич, подъячий с входящей книгой, записал нас в трёх строках, поставил номера и только потом поднял глаза.

— Хранитель? — спросил он.

— Ветров, — сказал я. — По дорожным делам.

— Номер триста девять, — сказал Клим Терентьевич и перевернул лист. — Ждите. Господин дьяк занят.

Мы ждали полтора часа, сидя на лавке, которая была прикручена к стене так, чтобы её нельзя было сдвинуть. Зждана вынула дощечку и мел и стала считать что-то своё: она делала так всегда, когда злилась.

— Что считаешь? — спросил я тихо.

— Сколько дней мы уже здесь, — сказала она. — Трое.

— Два.

— Трое. — Она не подняла глаз. — Вчерашний тоже.

Осип Терентьевич вздыхал и вытирал лоб платком.

Наконец нас позвали.

Лаврентий Обух, дьяк по дорожным делам, был человек, которого я знал полтора года и с которым мы один раз уже расходились по-хорошему. Он похудел, и от этого стал похож на птицу. На столе перед ним лежала папка, а рядом — счётная доска.

— Садитесь, — сказал он. — Все.

Мы сели.

— По дороге на Гриву и по её содержанию, — сказал Обух, — у палаты накопились вопросы. Сорок лет дорога содержалась распоряжением палаты. Потом дорога встала. Потом её подняли вашими руками. — Он посмотрел на меня. — Я не спорю: подняли. Я видел акт и сам его подписал. Вопрос не в этом.

— А в чём? — спросил я.

— В деньгах. — Обух открыл папку. — С сорокового года по нынешний палата израсходовала на перевал и на дорожное полотно три тысячи семьсот сорок рублей. Это записано по годам, вот здесь, и это не выдуманно.

Он повернул лист ко мне, и я увидел ровный столбик цифр: за каждый год сумма, за каждый год приписка рукой — на что.

— Три тысячи семьсот сорок, — сказал я.

— Да.

— Дорога сорок лет не ездила.

— Ездила, — сказал Обух. — По ней ходили обозы с солью. Медленно, дорого, но ходили. Палата чинила полотно, латала мостки и раз в три года посылала человека считать колодцы.

— И за это сёла должны три семьсот сорок?

— Сёла не должны ничего. — Он откинулся. — Должна дорога. И тут у нас, хранитель, два выхода.

Он вынул из папки два листа и положил их рядом.

— Первый: дорожный сход собирает деньги и гасит расходы палаты. Раскладка на девять сёл и два посада — по дворам. Это три тысячи семьсот сорок рублей, и я, сказать по чести,

не знаю, где их взять: в Заозёрье сорок три двора, и половина живёт с перевалки, которой больше нет.

— А второй?

— Второй — проще. — Обух посмотрел мне в глаза. — Дорога передаётся в казну. Палата её содержит, палата её и кормит. Сёла пишут отказ от права нужды, и на этом всё заканчивается.

В палате стало тихо.

Право нужды — это была та самая бумага, из-за которой мы полтора года держали перевал. По ней дорога принадлежала не казне и не товариществу, а сёлам: любому селу, стоящему на дороге, давалось право нужды — провозить своё без платы, ставить на тракте колодцы, брать с проезжих по обычаю и не пускать на полотно того, кто не чинит.

— Отказ от права нужды, — повторил я. — То есть дорога будет ваша, а сёла станут проезжими.

— Сёла станут проезжими на казённой дороге, — сказал Обух. — Это не худшее, что бывает.

— Это худшее из того, что бывает, — сказал я. — Господин дьяк, вы помните, чем кончилась концессия на перевалку?

— Помню.

— Девять копеек с пуда.

— Помню, — сказал Обух. — И помню, что концессию отменил я, а не вы. — Он взял первый лист. — Я вам скажу прямо, потому что время дорого: у меня нет ни малейшего желания отбирать у сёл дорогу. Но у меня есть книга, и в книге написано, что дорога содержится на деньги палаты, а палате эти деньги никто не вернёт. Дайте мне бумагу, по которой будет видно, что дорога может содержать себя сама, — и я вычеркну и первый выход, и второй.

Я смотрел на него и понимал, что он не врёт. Он действительно хотел бумагу, потому что с бумагой он мог идти к своему начальству, а без бумаги — нет.

— Сколько у меня времени?

— Две недели. — Обух закрыл папку. — На сходе в Усть-Соли девятнадцатого числа будет палатный человек. Он привезёт эти два листа и предложит их сходу.

— Усть-Соль? — переспросила Ждана. — Это юг. Это Соляной тракт.

— Да, — сказал Обух. — Дорожный сход тамошних сёл и варниц. — Он посмотрел на неё с некоторым интересом. — А вы разве не знаете, что тракт тоже наш? По книге — наш. Двести вёрст, четыре колодца, и ни один не работает.

— Мы знаем, — сказала Ждана.

— Тогда вы понимаете, почему я тороплюсь. — Обух встал. — У меня на руках две мёртвые дороги. Одну вы подняли, и она стоит. Вторую я хочу либо поднять, либо списать с книги, потому что держать в книге мёртвое — это грех против порядка.

Мы уже были у двери, когда он сказал:

— Хранитель.

Я обернулся.

— Вас ведь вызывали не только за этим. — Он надел очки. — В палату пришло письмо из столицы. Сысой Вершин пишет, что вашей дороге нужен устав, а вам — чин. И, по тону письма, он не о награде думает.

— А о чём?

— О том, что дорога, которая никому не подчинена, — это не дорога, а случайность. — Обух снял очки. — Я вам этого не говорил.

На улице было холодно. Кресень кончался, и в Вересовом Посаде уже пахло дымом, а на лужах по утрам стоял лёд.

— Три тысячи семьсот сорок, — сказал Осип Терентьич. — Это по дворам. Это ж по восемьдесят рублей с двора?

— По восемьдесят шесть, — сказала Зждана, не поднимая головы от дощечки. — Если на сорок три двора.

— Где я возьму восемьдесят шесть рублей?

— Нигде, — сказал я. — Поэтому мы поедем на юг.

Мы шли по Вересову Посаду к постоялому двору, и город был непохож на Студенец: каменные лавки, соляные амбары, вывески, которых не было у нас, и люди, которые ходили быстрее.

У соляной лавки на углу стоял воз, и вокруг него толпились.

Я подошёл и спросил у мужика в тулупе:

— Почем соль?

— Одиннадцать копеек пуд, — сказал он.

— Одиннадцать?

— А ты думал? — Мужик посмотрел на меня, как на дурака. — Два месяца как одиннадцать. Летом было девять.

Зждана рядом со мной перестала писать.

— Почему? — спросила она.

— А кто его знает. — Мужик сплюнул. — Говорят, вода в варницах худая пошла. Говорят, у них там колодец сел. — Он поправил тулуп. — Только нам-то что? Нам бы соли.

Я стоял и смотрел на воз с солью, и в голове у меня уже начал складываться столбик, который я не хотел складывать.

Одиннадцать копеек пуд. В Студёнце — одиннадцать. А в Усть-Соли, если верить книге, было два.

Я достал тетрадь и записал: «Варницы. Вода. Одиннадцать».

— Пойдём, — сказала Зждана.

— Погоди.

— Что ты записал?

— Пока не знаю, — сказал я. — Но у меня есть догадка, и она мне не нравится.

На постоялом дворе нас ждал человек.

Он сидел в углу у печи, на лавке, положив на колени мешок, и было видно, что он сидит здесь давно: перед ним стояла пустая кружка, а хозяин уже дважды поглядывал в его сторону.

Ему было под сорок пять. Руки у него были тёмные, гладкие, будто обожжённые, и я такие руки видел один раз в жизни — у солёвара, который приезжал к нам на ярмарку.

Он встал, когда мы вошли.

— Ветров? — спросил он.

— Ветров.

— Я Демьян. — Он помолчал. — С Нижнего стана. С варниц.

— Знаю, где варницы.

— Не знаешь. — Демьян покачал головой. — Если б знал, ты бы туда уже поехал.

Он развязал мешок и достал камень.

Камень был небольшой, в две ладони, серый, с одной гладкой стороной, и на этой стороне была выбита буква «Д», глубокая, ровная, с длинной царапиной через всю букву.

— Я нашёл его у Сухого Лога, — сказал Демьян. — На спуске. И под ним гудит.

Я взял камень в руки.

Он был тёплый.

Не так, как нагретый на солнце камень, — солнце в кресне уже не греет. Он был тёплый изнутри, ровно, как бывает тёплой ладонь спящего человека, и я почувствовал это раньше, чем успел сообразить.

— Зждана, — сказал я. — Иди сюда.

Она подошла, взяла камень, и лицо у неё сразу стало другим.

— Он живой, — сказала она.

— Он не живой, — сказал я. — Он тёплый.

— Это одно и то же, — сказала она, и я не стал спорить, потому что она была права больше, чем я.

Мы сняли комнату на постоялом дворе, и до полуночи я делал то, что делаю всегда, когда не понимаю: мерил.

Сначала я положил камень на стол и приложил к нему ладонь. Потом накрыл его тряпкой и стал смотреть, как тряпка сохнет: у края, где было выбито «Д», сохла быстрее. Потом я взял ковш холодной воды и опустил камень в ковш.

Вода в ковше потеплела через счёт до сорока.

— Через сколько? — спросила Зждана от печи, где сидела с дощечкой.

— Через сорок, — сказал я. — Если считать ровно.

— Сколько он держал вчера? — Она уже писала.

— Не знаю. Вчера им не я держал.

— Допустим, ты держал. — Она подняла глаза. — Сколько он грел после того, как ты его взял в руки?

Я подумал.

— Он был тёплый сразу. И через час ещё был тёплый.

— Значит, он не греется от тебя. — Зждана перестала писать. — И не остывает. Он как кусок ствола, который отсёк от сети: держит то, что было, и не отдаёт.

— Ствол бы остыл за час.

— Ствол бы остыл, — согласилась она. — А этот нет.

Я сел напротив и посмотрел на камень.

За полтора года я привык к одному: жила — это не огонь и не вода. Её нельзя «взять» и нельзя «положить». Её можно отвести, можно перекрыть кладкой, можно разделить — но она всегда течёт откуда-то куда-то, и у неё всегда есть конец, до которого доходит тепло, и конец, до которого не доходит.

Камень в ковше был не жилой. Камень был отломленным куском того, что жилой держало.

— Такое бывает? — спросил я.

— Не знаю. — Зждана посмотрела на меня. — Я рудознатец, а не поводчик. Я знаю породу, а не то, что в ней гудит.

— Тогда спросим того, кто гудит, — сказал я и обернулся к Демьяну.

Демьян сидел на лавке у двери, не снимая тулупа, и всё это время молчал.

— Демьян, — сказал я. — Иди сюда, на свет.

Он подошёл.

— Расскажи ещё раз, — сказал я. — Только медленно и только то, что ты видел сам.

И он рассказал.

Он рассказывал полчаса, и в его рассказе не было ни одного слова про чудеса.

Рассол в колодце стал солонее. Вода убыла на сажень за месяц. Пар над чанами стал гуще, а жар — слабее, то есть вода кипела хуже и соли выходило меньше, и от этого её приходилось больше жечь дров. Двое рабочих ослепли за год, и до этого ослепли пятеро, но те — давно. Хозяин велел не считать. В книге у хозяина за прошлый год двенадцать тысяч пудов, и соли в чанах и правда больше, потому что рассол крепче. А вода убывает.

— Постой, — сказал я. — Если рассол крепче, а вода убывает — это не одно и то же.

— Не одно, — согласился Демьян. — Я тебе и говорю: их два.

— Что два?

— Два дела. — Он поднял руку и показал два пальца, тёмных и гладких. — Одно — соль. Другое — вода. Раньше они шли вместе. Теперь — врозь.

Зждана перестала писать и посмотрела на него.

— Демьян, — сказала она. — А ты когда-нибудь видел, чтобы в колодце вода убывала от того, что её больше берут?

— Видел. — Он усмехнулся. — Так всегда и бывает: берёшь больше — воды меньше.

— Я не о том. — Она пододвинула дощечку. — Если ты берёшь больше, вода убывает и потом приходит снова, по весне. А если она убывает и не приходит — значит, её уводят в сторону.

Демьян долго смотрел на неё.

— Уводят, — сказал он.

— Уводят.

В комнате стало тихо, и было слышно, как внизу хозяин гремит ухватом.

— Сколько от Сухого Лога до вашего стана? — спросил я.

— Сорок вёрст.

— А до тракта?

— Тракт в семи верстах от Сухого Лога.

— И по тракту сколько?

— Двести вёрст. — Демьян посмотрел на меня. — Я по нему шёл одиннадцать дней.

Я сел и открыл тетрадь, и то, что я писал дальше, было не про соль и не про варницы.

Я записал четыре числа: двести вёрст тракта, сорок вёрст от узла до варниц, семь вёрст от узла до тракта и одиннадцать копеек за пуд.

Потом подчеркнул одиннадцать.

— Что ты сделал? — спросила Зждана.

— Я записал цену, — сказал я. — Пока не понимаю зачем.

Демьян вынул из мешка ещё одну вещь.

Это был не камень. Это был лист, сложенный вчетверо, серый от времени, с одной стороны исписанный ровным писарским почерком и с другой — с отметкой и печатью.

— Это откуда? — спросил я.

— Из книги, — сказал Демьян. — Хозяин держит книгу в конторе, а листы, которые старые, отдаёт считать. Я двадцать девять лет варю, меня за грамоту не считают, мне дают считать. — Он положил лист на стол. — А я считать умею.

Я развернул лист.

Это была запись о разделе тепла. Не про соль и не про деньги — про то, кому сколько. В ней стояло: «На варницы — три доли. На тракт — одна доля». И внизу, под всем, подпись: «Поверенный соляного дома Кузьма Ильич Сычёв».

А рядом, чуть ниже, была вторая подпись, свежая, чернила ещё лоснились: «Подтверждаю. На варницы — три доли с половиною».

Год стоял нынешний.

— Ты это когда взял? — спросил я.

— Вчера, — сказал Демьян. — Перед тем как уйти.

— Он хватится.

— Хватится. — Демьян посмотрел на меня прямо. — Только я двадцать девять лет варил соль, и у меня в колодце вода ушла на сажень. Мне терять нечего, кроме места.

Зждана взяла лист и стала читать, и лицо у неё было такое, какое бывает у неё, когда она находит в породе то, чего не ждала.

— Глеб, — сказала она. — Здесь написано «доля».

— Вижу.

— Долю нельзя взять и унести. — Она подняла на меня глаза. — Долю можно только держать. Значит, там, у Сухого Лога, кто-то стоит и держит.

— И этот кто-то каждый год отдаёт варницам больше, — сказал я. — На полдоли больше. Демьян ничего не сказал.

Я закрыл тетрадь и посмотрел на камень, который лежал у меня на столе, в ковше, и уже остывал — медленно, к утру остынет.

— Значит, так, — сказал я. — У нас две недели до схода в Усть-Соли. Мы идём на юг по тракту, двести вёрст, и по дороге считаем всё, что можно посчитать: колодцы, воду, вёрсты, цену пуда. А потом мы придём в Сухой Лог и посмотрим, кто там стоит на делёжке.

— А если он нас не пустит? — спросил Демьян.

— Значит, мы придём с бумагой, — сказал я. — Потому что бумага — это единственное, чего нельзя не пустить.

Глава 2. Дорога на юг

Мы вышли из Вересова Посада на второй день, и первые тридцать вёрст тракта я шёл и не верил, что это дорога.

Полотно было лучше нашего, гривского: шире, ровнее, с мостками через три оврага, и камни в нём лежали так, как кладут не на год, а на сто лет. По обочинам стояли верстовые кольца — каменные тумбы с выбитым числом, — и все были целые.

И по всему полотну росла трава.

Не кустами, не вразброс: ровным, густым покровом, как на лугу, который косят каждый год. Между камнями, по стыкам, вдоль колеи — везде. Я присел и раздвинул её рукой.

— Что? — спросила Зждана.

— Она не примята, — сказал я. — Совсем.

— И что это значит?

— Что по дороге не ездили не «давно», а очень давно. — Я выпрямился. — По нашей дороге, когда она стояла, всё равно ходили: пешком, с ручной тележкой, с обозом в три подводы. Здесь — никто.

Демьян стоял в стороне и смотрел на кольцо с числом тридцать.

— Тридцать вёрст от Посада, — сказал он. — Тут первый колодец.

Колодец был в десяти саженях от полотна, под навесом на четырёх столбах, и навес был новый. Я это заметил сразу: старое дерево сереет, а это было светлое, будто его поставили года три назад.

— Кто поставил? — спросил я.

— Палата, — сказал Демьян. — Она раз в три года посылает человека колодцы считать. Тот приезжает, смотрит, пишет, что колодец «в наличии», и уезжает.

— А воду пробует?

Демьян посмотрел на меня, как на ребёнка.

— Кому нужна вода в мёртвом колодце?

Я подошёл и заглянул.

Колодец был глубокий, сажень в десять, с хорошим срубом. Внизу было темно, и я не сразу увидел воду. Потом увидел: она стояла высоко, в трёх саженях от верха.

— Высоко, — сказал я.

— Высоко, — согласился Демьян. — Она всегда тут высокая. Тут река близко.

Я опустил бадью. Верёвка разматалась на три сажени, и бадья стукнула о воду.

Я поднял её и опустил палец.

Вода была холодная.

Не «свежая», не «студёная» — холодная, как вода из-под камня в июле, когда её пьёшь и ломит зубы.

— Зждана.

Она подошла, опустила руку по локоть и держала долго.

— Ничего, — сказала она.

— Совсем ничего?

— Совсем. — Она вынула руку, и с неё капало. — Если бы жила была рядом, даже ослабшая, вода была бы на два-три градуса теплее воздуха. Здесь она холоднее воздуха.

Я записал в тетрадь: «Колодец 30. Вода высоко. Вода холодная. Навес новый».

Мы прошли ещё сорок вёрст до второго колодца, и по дороге я считал.

Я считал мостки — их было девять на сорок вёрст, и все целые. Считал кольца: через каждые полверсты, и на каждом выбитое число и зарубка. Считал овраги, через которые дорога

шла по насыпи, и насыпи были высокие, потому что тот, кто их строил, строил по расчёту, а не по случаю.

— Её строили инженеры, — сказал я Зждане на второй день.

— Кто?

— Люди, которые умели считать. — Я показал на насыпь. — Смотри: уклон один и тот же на всю длину. Здесь никто не «прикидывал на глаз». Здесь считали.

— И что это значит?

— Что дорогу строили не для того, чтобы возить соль. — Я посмотрел на полотно. — Соль возили и до неё. Такую дорогу строят, когда хотят, чтобы по ней ходило что-то тяжёлое и много лет.

Зждана молчала, а потом сказала:

— Глеб. А если её строили поверх жилы, как у нас?

Я не ответил, потому что сам думал об этом с первого дня.

Второй колодец был на семидесятой версте, в ложине, и он оказался хуже первого: сруб подгнил, навеса не было, а в бадье, которую я поднял, плаваладохлаямышь.

— Сколько ему лет? — спросил я Демьяна.

— Сруб? — Он постучал по бревну. — Лет тридцать. Может, больше.

— А колодец копали когда?

— При царе Горохе, — сказал Демьян. — Тракт древний. Мне дед говорил: тут до нас ещё возили.

Я присел у сруба и стал смотреть на траву.

Трава вокруг колодца была другой. У полотна она стояла ровная и высокая, а здесь, на пространстве сажени в пять, лежала прибитая, будто её придавило чем-то широким и плоским.

Я прошёл по этому месту взад и вперёд. Пятно было вытянутое, узкое, шириной в две сажени, и шло оно не вокруг колодца, а от него — к югу.

— Зждана, — сказал я. — Иди сюда. Смотри на траву.

Она подошла и посмотрела.

— Она примятая.

— На две сажени шириной. И идёт к варницам. — Я присел. — Допустим, тут прошёл обоз. Тогда трава была бы примята полосой, но она была бы выбита в одном направлении и в двух колёсах.

— А тут?

— А тут её будто придавило сверху и ровно.

Зждана опустилась на корточки рядом со мной и положила ладонь на землю.

Она держала руку очень долго, и я уже хотел спросить, что она чувствует, когда она убрала руку и сказала:

— Тепло.

— Сильно?

— На полградуса. Может, на градус. — Она подняла глаза. — Оно идёт не вниз, а вбок. И не здесь. Здесь только край.

— Край чего?

— Край полосы, — сказала она. — Глеб, тут вдоль дороги идёт тёплая полоса. Она не под дорогой. Она рядом.

Я сел прямо на землю, достал тетрадь и стал считать.

Полоса шириной в две сажени. Идёт от колодца к югу. Если она идёт вдоль тракта, то она идёт двести вёрст, а это значит, что её кто-то проложил, и проложил не сейчас.

— Демьян, — сказал я. — Ты говорил, что на варницах вода убывает. С какого года?

— С прошлого. — Он подумал. — Нет. С позапрошлого. Тогда хозяин первый раз сказал, что чаны стали хуже держать.

— А до этого?

— А до этого хорошо было. Двадцать лет хорошо было.

Я записал: «Полоса рядом с полотном. Ширина 2 сажени. Идёт к югу. Варницы: вода убывает 2 года».

Потом посмотрел на столбик и сказал вслух то, что думал:

— Если жилу отвели от тракта к варницам, то тепло должно идти по какой-то трубе. Трубы такой длины не бывает.

— Бывает, — сказала Зждана.

— Из чего?

— Из камня, — сказала она. — Если это не труба, а ствол. Как в наших сетях. — Она села рядом. — Глеб, ты всё время думаешь, что жила — это вода в колодце. А она не вода. Она — жила, то есть живое. Её можно перерезать, и тогда она потечёт вбок. И тогда то, что было руслом, останется руслом — только сухим.

Я посмотрел на примятую траву.

— Значит, это не полоса тепла, — сказал я медленно. — Это русло.

— Это русло, по которому тепло уже не идёт, — сказала Зждана. — Оно остывает. Оттого и трава примятая: тут раньше таяло, и тут всегда ходили.

Я встал.

— Пойдём к третьему, — сказал я. — И по дороге считаем не людей, а воду.

До Сухого Лога оставалось сорок вёрст, и на этих сорока вёрстах нам встретился первый живой человек на тракте.

Это была девчонка лет восемнадцати, в мужском армяке и в сапогах не по ноге, и она шла вдоль полотна, неся на плече охапку вешек — тонких жердей с намотанной на конце красной тряпкой.

— Здорово, — сказала она, увидев нас, и остановилась. — Вы кто?

— Хранитель, — сказал я. — С гривской дороги. А ты?

— Анютка. — Она переложила вешки. — Я вешатель. Ставлю вешки, чтобы обозы не сбились, когда снег.

— Какие обозы? — спросил Демьян. — По тракту никто не ходит.

— Ходят, — сказала Анютка. — Раз в неделю, с солью, от Посада до Сухого Лога. Дальше не ходят: дальше нет дороги.

— А как же варницы?

— А варницы с юга, — сказала она. — Туда соль не с тракта идёт, а с реки. — Она вздохнула. — Тракт — он мёртвый, все знают. А я вешаю.

— Зачем?

— Затем, что за вешки платят. — Анютка посмотрела на меня, как на человека, который ничего не понимает. — По копейке за вешку, сорок вешек до Сухого Лога, это сорок копеек. Мне на хлеб.

Я посмотрел на её вешки.

И тут я заметил главное: они были не прямые.

Вешка, если её ставишь «чтобы не сбились», ставится в линию: от одной к другой по шнуру. Анюткины вешки стояли не в линию — они шли волной, забирая то вправо, то влево, и волна эта повторялась через каждые восемь-девять сажений.

— Анютка, — сказал я. — Почему ты их так ставишь?

— Как?

— Волной.

Она посмотрела на свои вешки, потом на меня.

— А как их ещё ставить?

— По шнуру.

— По шнуру нельзя, — сказала она просто. — По шнуру они у меня падают.

— Падают?

— Ага. — Она воткнула одну вешку в землю у самого полотна, и вешка встала криво, потому что земля под ней была мягкая. — Тут земля тёплая. Снег на ней не держится, вода не мёрзнет, и вешка стоит косо. А где тёплая полоса — там я и ставлю.

Мы стояли и смотрели на неё втроём.

— Где тёплая полоса? — переспросил я.

— Ну. — Анютка пожала плечами. — Оттуда идёт. — Она махнула рукой в сторону Сухого Лога. — Тонко так, в две сажени. Я по ней и вешаю, потому что по ней ходить легче: снега нет.

Я достал тетрадь.

— Покажи, — сказал я. — Покажи все места, где тёплая земля.

Мы шли с ней до вечера.

Анютка показывала: вот тут тёплое, вот тут нет, вот тут опять тёплое. Полоса шла не по прямой, а извивалась; местами она пропадала совсем, местами расширялась до пяти саженей и уходила в сторону от полотна, к реке. Дважды она уходила так далеко, что мы теряли её на четверть часа и находили по траве.

К вечеру у меня в тетради был чертёж.

Я сел на камень, разложил лист на колене и стал чертить: полотно, кольца, колодцы, полосу.

Полоса шла вдоль тракта, но не ровно: она вилась, как ручей по лугу, и в трёх местах от неё отходили отводы — к колодцам.

— Глеб, — сказала Зждана, заглядывая через плечо. — Ты видишь?

— Вижу.

— Это не русло, которое высохло. — Она ткнула пальцем в отводы. — Это русло, из которого воду уводят. Отводы идут от главного ствола к колодцам, а главный ствол уходит на юг.

— И в трёх местах, где отводы, колодцы холодные, — сказал я. — А в тех, где отводов нет...

Я не договорил, потому что понял.

— Где отводов нет, там вода должна быть тёплой, — сказала Зждана.

— Там, где мы ещё не были, — сказал я. — Между Сухим Логом и варницами.

Демьян, который всё это время молчал, вдруг сказал:

— Там Соляной колодец. Сто пятидесятая верста.

— Он тёплый?

— Не знаю. — Демьян смотрел на меня. — Я на тракте не был сорок лет. Я на варницах был.

Анютка, которая сидела рядом на корточках, сказала:

— Тёплый.

Мы все повернулись к ней.

— Откуда знаешь? — спросил я.

— Я туда вешки вожу, — сказала она. — Дальше Сухого Лога платят вдвое, потому что дорога худая. И там колодец тёплый. Я в нём руки грела.

— Когда?

— В прошлом годе, — сказала Анютка. — В грудне.

Я закрыл тетрадь.

Закат был красный, и от этого вся трава на полотне казалась рыжей, а верстовое кольцо с числом сто десять — чёрным.

— Значит, так, — сказал я. — Сто десять вёрст мы прошли. Дальше идёт Сухой Лог, и там, видимо, узел. А за узлом — ещё сорок вёрст, и на них колодец, в котором вода тёплая зимой.

— Что это значит? — спросила Анютка.

— Это значит, что дорога не мёртвая, — сказал я. — Это значит, что её убили, и убили недавно, и убили для того, чтобы кому-то было тепло.

Демьян снял шапку и вытер лоб, хотя было холодно.

— Глеб, — сказал он. — Ты когда придёшь туда, ты не говори сразу хозяину, что знаешь.

— Почему?

— Потому что он хороший человек, — сказал Демьян. — Он платит вовремя, он знает, у кого какая болезнь, он в засуху кормил стан из своих. И если ты скажешь ему, что он забрал тепло у дороги, — он не станет спорить. Он просто скажет, что дорога ничья, а варницы — четыреста человек. И он будет прав.

Я посмотрел на него.

— А кто тогда не прав?

— Не знаю, — сказал Демьян. — Я соль варю.

Ночью я не спал.

Мы заночевали в брошенной избе у сто двадцатой версты, и я сидел у окна с тетрадь, и в голове у меня складывался расчёт, который мне не нравился.

Если полоса тепла шириной в две сажени уходит с тракта на варницы, то вернуть её можно только одним способом: перекрыть отвод и поставить на делёжке человека.

Одного человека на двести вёрст не поставишь. Значит, там, где делёжка, надо стоять постоянно, и держать так, чтобы варницы не встали.

А чтобы варницы не встали, надо, чтобы они варили соль без жилы.

И вот тут расчёт кончался, потому что дров на три стана нужно столько, что соль станет дороже, и Смола скажет: «Тогда зачем».

Я закрыл тетрадь и посмотрел в окно.

Над полотном стоял туман, ровный и низкий, и в нём было видно, как трава на полосе тепла стоит зелёная, а рядом — серая от изморози.

Утром мы пошли дальше, и через семь вёрст я увидел Сухой Лог.

Спуск был как спуск: обрыв, старые ямы, плоский камень у дороги.

И у камня стояли люди.

Глава 3. Солёный туман

У камня стояли четверо, и по тому, как они стояли, я сразу понял: не случайные.

Двое держали верёвку, третий держал фонарь, хотя было утро, а четвёртый — тот, что постарше, в тёмно-синем кафтане, — стоял над ямой и смотрел вниз.

— Доброе утро, — сказал я.

Старший обернулся.

Ему было лет пятьдесят, у него было узкое лицо и очень спокойные глаза, и он не удивился, а посмотрел на нас так, как смотрят на людей, которых ждали.

— Хранитель, — сказал он. — Ветров.

— Ветров.

— А я думал, вы раньше придёте. — Он убрал руку с верёвки. — Я Кузьма Ильич Сычёв. Поверенный соляного дома.

Мы стояли друг напротив друга, и верёвка в руках у двоих работных тихо покачивалась.

— Вы знали, что мы идём, — сказал я.

— Я знал, что вы поедете, — сказал Сычёв. — Об этом говорили в Посаде на прошлой неделе, а Посад — это тридцать вёрст от палаты, и в палате служит мой двоюродный.

— И что вы тут делаете?

— Смотрю. — Он кивнул на яму. — Двадцать лет смотрю, и всё одно и то же. Хотите тоже посмотреть?

Вежливость его была неподдельной: он действительно предлагал.

Я подошёл к краю.

Яма была глубокая, сажен в шесть, и в ней стояла лестница, а под лестницей был вход: узкий, в две ладони шириной, обложенный камнем. За входом было темно.

— Это что? — спросил я.

— Дых, — сказал Сычёв. — Так у нас зовут. Отсюда тепло идёт.

— Идёт куда?

— Куда надо. — Он посмотрел на меня. — Вы, хранитель, хотите спросить, куда именно. Спросите.

— Куда именно?

— На варницы. — Сычёв сказал это без всякой утайки. — Двести лет на варницы. Мои деды тут стояли, и отцы.

— А тракт?

— А тракт — в стороне.

Он сказал это так спокойно, что я на секунду потерял нить.

— В стороне? — переспросил я. — Кузьма Ильич, тракт идёт в двух саженях от этой ямы. Полоса тепла идёт по тракту сто пятьдесят вёрст.

— Идёт, — согласился Сычёв. — Только слабая. — Он показал рукой. — Вы в колодцах воду пробовали? На тридцатой версте?

— Пробовал.

— Холодная?

— Холодная.

— А на сто пятидесятой?

Я промолчал.

— Тёплая, — сказал Сычёв. — И всегда была тёплая. Хотите, покажу, почему?

Он сделал знак, и один из работных поднял с земли рогожу, которая лежала у камня. Под рогожей был прибор: медный котёл с краном, а к крану шла трубка, обмотанная кожей.

— Тут меряют, — сказал Сычёв. — Мы тут не колдуем, хранитель. Мы тепло считаем. Котёл с водой, вода за час нагревается на столько, на сколько нагрелась, — мы записываем. Каждый месяц. Сорок лет. — Он посмотрел на меня. — И в книге написано, сколько тепла с этой ямы идёт и сколько его до варниц доходит.

— А до тракта?

— А до тракта — ничего не доходит, — сказал Сычёв. — Ни одной доли. Я вам больше скажу: и не доходило. Сорок лет назад, когда сеть на Гриве рванула, сюда пришли трое и сказали: «Делить будем». И поделили: варницам — три доли, тракту — одна.

— И где эта доля?

— А где тракт?

Я стоял и смотрел на него, и он смотрел на меня, и было в этом что-то очень простое и очень скверное: он не спорил. Он показывал книгу.

— Покажите, — сказал я.

— Что показать?

— Книгу. Запись о разделе. И все подписи за сорок лет.

Сычёв улыбнулся — в первый раз, и улыбка была не злая, а усталая.

— Хранитель, — сказал он. — В книге варниц восемьсот листов. Если вы хотите прочесть её всю, приезжайте на стан, я вам дам стол и свечу. Но я вам отвечу за неё сейчас, без книги: с сорокового года доля варниц — три доли, доля тракта — одна. Каждый год мы подтверждаем. В этом году подтвердили с половиной, потому что рассол осел и нам нужно больше тепла, чтобы держать тот же выход соли.

— С половиной, — сказал я. — Значит, у тракта теперь не одна доля.

— У тракта нет доли, — сказал Сычёв. — Доля есть у того, кто стоит на делёжке. Тракт не стоит. По тракту сорок лет никто не ходит.

Демьян рядом со мной сделал шаг вперёд.

— А мы? — сказал он. — Мы стоим. Мы варим.

Сычёв посмотрел на него и вдруг изменился в лице.

— Демьян, — сказал он. — Ты что тут делаешь?

— Иду.

— Ты ушёл со стана.

— Ушёл.

— А кто у тебя в третьем чане?

— Гурьян. Он справится.

Сычёв помолчал.

— Ты камень нашёл, — сказал он.

— Нашёл.

— И привёл его сюда. — Сычёв посмотрел на меня, потом опять на Демьяна. — Демьян, ты двадцать девять лет варил. У тебя руки как доски. Ты хоть понимаешь, что если этот человек сделает то, что хочет, то твой чан встанет первым?

— Понимаю.

— И что тогда?

— Тогда я буду держать дорогу, — сказал Демьян.

Сычёв смотрел на него долго.

— Ладно, — сказал он наконец и обернулся к работным. — Сворачивайтесь.

Они сняли котёл, скатали рогожу, вытащили лестницу — всё быстро, привычно, как делают дело, которое делают каждый месяц.

Сычёв стоял и смотрел, как они укладывают, потом сказал мне:

— Хранитель, я вам дам один совет, и он вам не понравится. Поезжайте на варницы. Посмотрите на людей. Не на чаны, не на книгу — на людей. Посмотрите, как они живут, и

сколько их, и что будет, если стан встанет. А потом приезжайте в Усть-Соль и скажите мне, что вы решили.

— А если я решу забрать тепло?

— Тогда приходите с бумагой, — сказал Сычёв. — Без бумаги я вам его не отдам, потому что за мной четыреста человек и книга. С бумагой — отдам. Я не спорю с бумагой, хранитель. Я в ней живу.

Он пошёл к дороге, где стояли две подводы, и я вдруг спросил:

— Кузьма Ильич. А семь царапин на камне — это вы?

Он обернулся.

— Семь, — сказал он. — Я каждый год ставлю одну. Когда мы подтверждаем долю.

— А длинная?

— А длинная — не моя. — Он посмотрел на камень. — Она была до меня. Я думал, это вы, северные, приходили.

— Мы не приходили.

— Теперь вижу. — Сычёв потрогал скол на длинной чёрточке. — Она свежая, хранитель.

— Свежая?

— Ей год. Может, два. — Он выпрямился. — Я думал, это вы, когда услышал, что на тракте объявился хранитель с камнем.

— А я думал, что камень нашёл Демьян.

— Демьян нашёл камень у дороги, — сказал Сычёв. — А это другой камень.

Он уехал.

Мы остались у ямы вчетвером: я, Зждана, Демьян и Анютка, которая всё это время стояла в стороне с вешками и слушала так, что у неё рот был приоткрыт.

— Глеб, — сказала Зждана. — Ты понял, что он сказал?

— Понял.

— Он сказал, что доли у тракта нет, потому что на делёжке никто не стоит.

— Понял.

— И что бумагой он это признаёт.

— Понял. — Я сел на камень. — Зждана, я всё понял. Я не понимаю другого: как он это делает сорок лет и не сходит с ума.

— Он не сходит с ума, потому что он прав, — сказала Зждана. — Он прав в одном: если закрыть дых, четыреста человек останутся без работы. И он это знает. И это его держит.

Мы спустились в яму.

Лестница была крепкая, вбитая в стену, и на каждой ступени лежал слой соли, тонкий, как наледь. Внизу пахло так, как пахнет в бане, когда плеснёшь на камни: горячо и остро.

Вход был шириной в две ладони — то есть не вход, а щель, — и из неё шёл воздух.

Тёплый. Ровный. Сухой.

Я приложил к щели ладонь.

— Сколько? — спросила Зждана снизу.

— Рука терпит. — Я отнял ладонь. — Градусов сорок.

Она поднялась и тоже приложила руку.

— Идёт, — сказала она. — Ровно. Как из трубы.

— А теперь скажи мне, — сказал я, — почему на тридцатой версте вода холодная, а тут, в двух саженьях от того же ствола, горячо.

— Потому что тут ствол, — сказала Зждана. — А там — отвод.

— Не отвод. — Я присел на корточки и посмотрел в щель. — Если бы это был отвод к колодцу, вода в колодце была бы тёплая. Она холодная.

Зждана помолчала.

— Значит, отвод идёт не туда, — сказала она. — Он идёт мимо.

Мы вылезли наверх, и я сел у камня и стал считать вслух, потому что вслух у меня всегда получалось лучше.

— Есть яма. Есть щель. Из щели идёт тепло. Тепло идёт по стволу. Ствол длиной двести вёрст, а может, и больше. На нём четыре колодца. В трёх — вода холодная, в одном — тёплая. И ещё есть варницы, куда приходит довольно тепла, чтобы выпаривать двенадцать тысяч пудов соли в год.

— И что? — спросила Анютка.

— И то, что стволов два, — сказал я. — Один — тот, что идёт под трактом и от которого отводы к колодцам. Он сухой. Второй — тот, что идёт от этой щели на юг, к варницам, и он живой. И они не один ствол, а два, и они где-то соединены.

Зждана медленно кивнула.

— И то место, где они соединены, — сказала она, — это и есть делёжка.

Я встал и посмотрел на юг.

Там, за холмом, было ровное место, и над ним стояло что-то белое, хотя день был ясный и ветра не было.

— Что это? — спросил я.

— Туман, — сказал Демьян. — Солёный.

Мы пришли на варницы к вечеру следующего дня, и я до сих пор не знаю, как это описать так, чтобы было понятно.

Сначала мы слышали шум: ровный, низкий гул, будто где-то далеко работала вода на мельнице.

Потом увидели пар. Он поднимался над тремя станами и стоял, не расходясь, белым пологом, и в нём плавали искры из топок. Над Нижним станом пар был выше всех.

Потом мы вошли.

Вдоль реки стояли навесы, под навесами — чаны, в каждом чану кипел рассол, и над каждым чаном работали люди.

Их было много. Больше, чем я когда-либо видел в одном месте. У первого чана — четверо с вёслами, которыми они мешали рассол; у второго — двое выгребали соль на лоток; у третьего — женщина с деревянной лопатой сыпала соль в мешки; и ещё, и ещё, и ещё, до самого берега, где стояли бочки в три ряда.

Между ними ходили мальчишки с ведрами. У навеса сидел старик и чинил рогожу. Двое мужиков катили тачку с солью. Кто-то пел — негромко, под нос, чтобы не сбивать счёт.

И над всем этим стоял пар, и в пару было светло, как в бане, и все лица были мокрые.

— Сколько их? — тихо спросила Зждана.

— Четыреста, — сказал Демьян.

— Тут не четыреста.

— Тут сто двадцать. Остальные на других станах и на реке.

Я стоял и смотрел.

Я видел, как в третьем чану один работный отступил от пара и потёр глаза тыльной стороной ладони. Потом снова наклонился. Потом опять отступил — и опять потёр.

И тут я понял, что именно мне не нравится в этом паре: он не уходил. Он висел.

— Демьян, — сказал я. — А куда девается пар?

— Никуда. — Он пожал плечами. — Стоит.

— Сутки?

— Двое. Пока ветер не поднимется.

Мы шли по стану, и я считал.

Я считал вёдра: мальчишка выносил два ведра из чана, ставил на тачку, возвращался. Получалось около двенадцати ведер в четверть часа. Я считал людей у чанов: двадцать девять

на трёх навесах. Я считал, сколько дров лежит под навесом: поленица в шесть саженой длиной, в две высоты, и она таяла — за час её край ушёл на две ладони.

К нам вышел человек в кожаном фартуке, с лицом, обожжённым паром до блеска.

— Вам чего? — спросил он.

— К хозяину, — сказал я.

— Хозяин на Верхнем. — Он оглядел нас. — Демьян, это с тобой?

— Со мной.

— А ты, я смотрю, с севера пришёл. — Мужик посмотрел на мои сапоги. — По тракту?

— По тракту.

— И как там?

— Трава, — сказал я.

Мужик засмеялся.

— Трава, — повторил он. — Сорок лет трава.

Он повернулся и пошёл к чану, и я увидел, как он на ходу вытирает глаза.

Мы дошли до Верхнего стана к темноте.

Смола сидел в конторе — небольшой избе с двумя окнами, столом и полкой, на которой лежали книги, — и, когда мы вошли, он встал и предложил нам сесть, и это было первое, что меня удивило.

Ему было шестьдесят один, и он был похож на человека, который всю жизнь поднимал тяжести и от этого стал короче.

— Значит, вы и есть хранитель, — сказал он. — Я о вас слышал.

— И что слышали?

— Что вы подняли дорогу, — сказал Смола. — Что у вас сто вёрст полотна и двадцать четыре человека, которые на нём стоят.

— Сорок.

— Сорок, — согласился он. — Хорошо.

Он сел.

— Демьян, — сказал он, не глядя на него. — Я тебя не выгоню. Но если ты будешь говорить на стане, что я забрал тепло у тракта, я тебя выгоню, и ты это знаешь.

— Знаю, — сказал Демьян.

— Тогда договорились. — Смола положил руки на стол. — Хранитель, я вам скажу прямо, зачем я вас ждал. У меня вода уходит. Не тепло — вода. В колодце упало на сажень за месяц, и я знаю, что будет через год: чан станет, а я не смогу его снять, потому что на нём тридцать человек.

— И вы хотите, чтобы я это остановил.

— Хочу. — Смола посмотрел на меня. — И знаю, что вы скажете: «Дай половину тепла тракту».

— Скажу.

— И я не дам. — Он поднял руку. — Потому что половина — это остановка. Не сразу: сначала чаны станут вялые, потом соли пойдёт на четверть меньше, потом я не смогу платить, и люди уйдут. Не потому, что я их выгоню, а потому, что им нечем будет кормиться.

— А если варницы смогут варить без жилы?

Он замер.

— Без жилы — это дрова.

— Дрова.

Смола долго смотрел на меня, и в его глазах было что-то среднее между интересом и жалостью.

— Хранитель, — сказал он. — Вы знаете, сколько дров нужно, чтобы выпарить пуд соли?

— Нет.

— Полторы сажени. — Он поднял палец. — На пуд. У меня двенадцать тысяч пудов. Это восемнадцать тысяч сажений дров в год. Это лес, который надо купить, свалить, вывезти и сложить. И это дороже, чем соль.

— На сколько дороже?

— На полкопейки с пуда, — сказал Смола. — Может, на копейку.

Он сказал это и вдруг замолчал, потому что понял, что только что назвал цену.

— На копейку, — повторил я.

— На копейку.

— Кузьма Ильич Сычёв подтвердил вам в этом году ещё полдоли, — сказал я. — На что вы их тратили?

Смола не ответил.

— На дрова, — сказал я. — Вы уже начали. У вас под навесом поленица в шесть сажений, и она тает на две ладони в час, и это не дрова для жильного чана: жильному чану дров не надо вовсе.

Смола молчал.

— Сколько у вас бочек рассола в запасе? — спросил я.

Он поднял на меня глаза.

— Хранитель, — сказал он. — Вы или очень умный, или очень наглый.

— Я инженер, — сказал я. — Я считаю.

Он встал и подошёл к окну.

За окном стоял солёный туман, и в нём было видно, как над третьим чаном Нижнего стана ходит свет.

— Полторы сажени на пуд, — сказал он, глядя в окно. — Я считал прошлой зимой. И знаете, что я посчитал потом?

— Что?

— Что если перевести на дрова хотя бы один стан, то пуд станет дороже на копейку, и мне придётся поднять цену. — Он обернулся. — А поднять цену на соль — это не как поднять цену на репу. Соль берут все. И тогда в палате спросят: почему у Смола дорого, если у него тепло от земли?

— И что вы ответите?

— Я отвечу, что тепло у меня не от земли, а от дела. — Смола сел обратно. — Хранитель, я вам скажу, чего я боюсь. Не того, что вы заберёте тепло. Того, что вы его поделите и уйдёте. А я останусь с двумя половинами: с половиной тепла и с половиной дров, и ни та ни другая не сварят мне пуд.

В конторе стало тихо, и было слышно, как внизу, у чана, кто-то кашляет.

— Тогда давайте так, — сказал я. — Я не буду ничего делить, пока не посчитаю. Дайте мне три дня, книги и людей, которые умеют мерить воду.

— Книги не дам, — сказал Смола.

— Тогда дайте мне чан и людей.

Он смотрел на меня.

— Чан дам, — сказал он. — И людей дам. И ещё, хранитель, я вам дам совет, который вам не понравится. — Он наклонился. — Не верьте Демьяну.

— Почему?

— Потому что у него в колодце вода ушла, и он прав. — Смола посмотрел на Демьяна. — И потому что человек, который прав, очень легко начинает думать, что весь мир виноват.

Демьян ничего не сказал.

Мы вышли на воздух, и солёный туман сразу облепил лицо.

— Он даст, — сказал Демьян.

— Что даст?

— Чан. — Демьян вытер лицо. — Он всегда даёт, если попросить по-человечески. Он только книгу не даст.

Я стоял и смотрел в туман, в котором плавали искры.

— Зждана, — сказал я. — Как думаешь, сколько соли в ведре рассола?

— Не знаю.

— А я думаю, что мы это узнаем к утру, — сказал я. — И тогда я, кажется, пойму, куда уходит вода.

Глава 4. Три варницы

Утром я пошёл считать варницы, и это оказалось делом на весь день, потому что варница — не изба и не сарай, а живое хозяйство, у которого сто рук и один рот.

Сначала — три стана.

Верхний стоял на самом берегу, у впадения ручья: четыре чана под двумя навесами, амбар, сушильня и изба для работных. Средний — в полуверсте ниже, за мысом: шесть чанов, две сушильни, кузня. Нижний — у самого устья, где река становится широкой: восемь чанов, соляные амбары в три ряда и пристань, к которой подходили лодки.

Восемнадцать чанов на три стана.

— А по бумаге сколько? — спросил я Фрола.

Фрол, который ходил со мной вместо провожатого, был молодой, лет двадцати девяти, с обветренным лицом и очень серьёзными глазами; он вёл счёт стану и знал его наизусть.

— По бумаге двадцать, — сказал он. — Два стоят.

— Почему?

— Рассол не идёт. — Фрол показал на два пустых чана у Верхнего. — С прошлой зимы. Мы их не разбираем, потому что если разобрать, то потом собирать втрое дороже.

— Понял.

Дальше я считал сам, и Фрол проверял.

Чан: дубовый, в три с половиною аршина в поперечнике, в сажень глубиной. Под чаном — топка. У жильного чана топка маленькая, только чтобы держать рассол горячим: тепло приходит по трубе снизу, через чугунную плиту с дырами, и плита эта стоит с сорокового года.

— Плиту кто ставил? — спросил я.

— Дед мой, — сказал Фрол. — Он в книге записан.

— В какой книге?

— В книге варниц. Там всё: кто поставил, когда, сколько тепла пришло, сколько соли взяли. — Фрол помолчал. — Отец говорил, что книга важнее соли.

— Почему?

— Потому что соль съедят, а книгу будут читать.

К полудню я знал цифры, и цифры мне не понравились.

Восемнадцать чанов. В каждом — сорок ведер рассола. Варка идёт дважды в сутки: залили, выпарили, выгребли, залили. С чана выходит полторы бочки соли, в бочке — двадцать пять пудов. Значит, чан даёт семьдесят пять пудов в сутки, а все восемнадцать — тысячу триста пятьдесят.

— А по книге сколько за год? — спросил я.

— Двенадцать тысяч пудов, — сказал Фрол.

Я остановился.

— Фрол. Тысяча триста пятьдесят в сутки — это четыреста тысяч в год.

— Так не бывает, — сказал Фрол спокойно. — Зимой вода в реке падает, и рассол слабее. Летом жарко, чан кипит сам, но люди устают. В межень стан стоит две недели. — Он загнул пальцы. — По правде выходит тридцать пудов с чана в сутки, а не семьдесят пять.

— Почему тридцать?

— Потому что рассол слабый, — сказал Фрол. — Чем слабее рассол, тем больше дров и тем меньше соли. А рассол у нас слабый.

Вот это и было первое, что я записал в тетрадь.

Я сел на чурбак и стал считать вслух, а Фрол стоял рядом и слушал.

— Если в ведре рассола четверть фунта соли, то из сорока ведер чана выйдет десять фунтов, — сказал я. — Десять фунтов — это четверть пуда. А ты говоришь тридцать пудов с чана.

— Говорю.

— Значит, в рассоле не четверть фунта, а больше. Сколько?

Фрол задумался.

— Не знаю, — сказал он. — Мы не считаем. Мы пробуем на язык: если солоно — варим. Я посмотрел на него.

— На язык.

— На язык, — подтвердил Фрол. — Так деды варили.

— И сколько раз на язык?

— А по-разному. — Фрол пожал плечами. — Когда рассол идёт хороший, он густой, и язык сразу чует. Когда слабый — не чует, и мы льём больше.

— И никто никогда не мерил?

— Хранитель, — сказал Фрол терпеливо, — у нас триста лет варят. Если бы надо было мерить, давно бы мерили.

Я закрыл тетрадь и пошёл к чану.

К вечеру у меня было четыре числа, которых не было ни у кого на варницах.

Первое: рассол в чанах Верхнего стана — двадцать две части соли на сотню ведер. Второе: в чанах Нижнего — семнадцать. Третье: в бочке с рассолом, которую принесли из колодца, — двадцать девять. Четвёртое, самое скверное: в чанах воду доливали из реки.

— Кто велел доливать? — спросил я Фрола.

— Никто не велел, — сказал он. — Так делают.

— Зачем?

— Чан должен быть полный. — Фрол сказал это так, будто объяснял мне, что вода мокрая. — Если налить меньше, соль пригорит к днищу.

— А если налить полный, но рассол слабый?

— Тогда и соли меньше.

Я стоял над чаном и смотрел, как в нём кипит вода, и в голове у меня складывалось то, что я потом назвал про себя «глупостью на четыреста человек».

Они варили реку.

Каждый день, каждый час: привозили рассол, разбавляли его речной водой, потому что «чан должен быть полный», и потом жгли дрова, чтобы выпарить воду, которой в чану было больше, чем надо, и соли в которой не было вовсе.

Я взял уголёк и на доске у чана написал счёт.

Сорок ведер. Двадцать два фунта соли на сотню ведер — значит, в чану восемь с половиной фунтов соли, то есть пятая часть пуда. Чтобы выпарить сорок ведер воды, нужно полторы сажени дров. Полторы сажени — это шестьдесят копеек.

Пятая часть пуда соли в Усть-Соли стоит две копейки.

Я пересчитал дважды.

— Фрол, — сказал я. — У тебя дрова дороже соли.

— Как дороже?

— Вот так. — Я показал ему доску. — Ты тратишь шестьдесят копеек дров, чтобы получить две копейки соли. Ты работаешь в убыток и называешь это варкой.

Фрол смотрел на доску долго.

— Так не бывает, — сказал он наконец. — Мы же живём.

— Вы живёте не с соли, — сказал я. — Вы живёте с жильного тепла, которое вам ничего не стоит. Пока тепло идёт, ваши дрова — копейки. А как только тепло кончилось, вы варите реку за шестьдесят копеек.

Он ничего не ответил и пошёл к навесу.

А я остался у чана, и во мне в первый раз за все эти дни поднялось не любопытство, а злость.

Я злился не на Смолу. Смола считал и знал цену — он мне сам называл полкопейки с пуда. Я злился на то, что вот эти восемнадцать чанов, триста лет, четыреста человек, книга варниц в восемьсот листов — всё это держалось на одном: на трубе, которую поставил чей-то дед, и на правиле «если солоно — варим».

Жила давала им тепло даром. И они за триста лет разучились считать.

Ночью меня разбудил Радыш.

Радыш был старшим на Среднем стане, ему было сорок два, и он говорил медленно, с паузами, будто каждое слово сначала взвешивал.

— Хранитель, — сказал он. — Извини. Пойдём.

— Что случилось?

— Косна.

Мы прошли через двор к избе, где жили работные, и в сенях на лавке сидела старуха и держала на коленях руки.

— Косна, — сказал Радыш. — Хранитель тебя посмотрит.

— Не надо меня смотреть, — сказала Косна.

Ей было шестьдесят, и она была маленькая и сухая, и на лице у неё было то, что я видел уже у Демьяна: красные, слезящиеся глаза и кожа вокруг них, будто выдубленная.

— Сколько ты у чана? — спросил я.

— С четырнадцати.

— А сколько не видишь?

Она помолчала.

— Пальцы вижу, — сказала она. — Лицо не вижу.

— С какого года?

— С прошлого.

Радыш сказал тихо:

— У нас таких двенадцать. У Верхнего — пять. У Нижнего — семь. И ещё девять, которые видят, но плохо.

Я сел на корточки рядом с Косной.

— Косна, — сказал я. — А если бы ты не стояла у чана, ты бы видела?

— Не знаю, — сказала она. — Мне никто не говорил.

Больше она не сказала ничего, и Радыш увёл её в избу, а я вышел на двор и долго стоял на холодном воздухе.

Солёный туман висел над станом и в темноте был почти невидим, только по огням было понятно, что он есть.

Тридцать шесть человек. Из четырёхсот. Двенадцать слепых, девять полуслепых — только на трёх станах, и это то, что я увидел за один день.

Утром я пошёл к Смоле.

Он сидел в конторе и пересчитывал что-то на счётах; на столе лежала книга, раскрытая на середине.

— Хранитель, — сказал он, не поднимая головы. — Я вас слушаю.

— У вас тридцать шесть человек с глазами.

— Двадцать девять, — сказал он. — Тридцать шестой умер на Покров.

— Двадцать девять.

— И что?

— Сколько вы тратите на стан в год? — спросил я.

Смола отложил счёты.

— Зачем вам?

— Затем, что я хочу знать, во что вам обходится варница.

Он смотрел на меня и молчал. Потом взял лист и стал говорить, а я записывал.

Двенадцать тысяч пудов соли в год. Цена в Усть-Соли — две копейки за пуд. Значит, двести сорок рублей. Соляной сбор в палату — сто рублей в год со всех варниц, то есть почти половина выручки. Жалование: сорок копеек в день мастеру, три щепы работному, харчи. Четыреста человек, из них сто двадцать на станах, остальные на реке: возчики, бурлаки, грузчики.

— Итого? — спросил я.

— Итого — сорок рублей в год чистыми, — сказал Смола. — В хороший год. В плохой — ничего.

Я отложил перо.

— Кузьма Ильич Сычёв сказал мне, что соляной сбор — тысяча двести рублей в год.

Смола пожевал губами.

— Сычёв считает весь тракт, — сказал он. — Не только варницы. В тысяче двухстах — сбор с перевоза, с амбаров, с лодок, с посада, с тех, кто торгует солью в Студёнце.

— А сколько из них с варниц?

— Сто.

— И вы платите сто рублей в год в палату, — сказал я, — при выручке двести сорок. Это сорок процентов.

— Так и есть.

— А тракт стоит в год четыреста восемьдесят рублей, — сказал я. — На сто держателей. Вы знаете эту цифру?

Смола посмотрел на меня внимательно.

— Знаю, — сказал он. — Сорок лет знаю.

— И?

— И что? — Он развёл руками. — Тракт — не моё дело. Тракт — дело палаты. С палаты я требую дорогу, а палата требует с меня сбор. Если я не заплачу сбор, палата не даст мне амбар.

— А если я скажу вам, что четыреста восемьдесят рублей в год делает тракт живым? — сказал я. — Сто держателей, четырнадцать вёрст на человека, замер каждый месяц, книга. Через два года по тракту пойдёт соль — ваша соль, и вы будете возить её в Посад за три дня, а не за десять.

Смола молчал.

— И что вы хотите от меня? — спросил он.

— Я хочу знать, отдадите ли вы долю тепла, если я докажу, что без этого тракт не встанет.

— Нет, — сказал он.

— Кузьма Ильич...

— Хранитель. — Смола поднял руку. — Я вам отвечу не как противник. Я вам отвечу как человек, у которого сорок рублей в год чистыми и четыреста ртов. — Он наклонился. — Если я отдам долю тепла, мои чаны станут. Если мои чаны станут, я не заплачу сбор. Если я не заплачу сбор, палата отберёт амбар. И тогда тракт ваш встанет через год, а мой стан — через месяц. Понимаете?

Я понимал.

Вот в чём была беда. Он не был злодеем. Он был человеком с сорока рублями в год, и в его счёте каждая строка была правдой.

— Тогда дайте мне чан, — сказал я. — И людей. Я хочу показать вам, что бывает, когда варят не реку.

— Чан я обещал, — сказал Смола. — Берите Нижний, третий. Он всё равно в простое. Мы вышли, и на крыльце меня догнал Радыш.

— Хранитель, — сказал он. — Ты про Косну спрашивал.

— Спрашивал.

— А ты можешь сделать так, чтобы пар уходил?

Я посмотрел на него.

— Пар?

— Пар стоит над станом двое суток. — Радыш показал рукой. — Мы в нём как в бане. Глаза от него. Если бы он уходил...

— Радыш, — сказал я. — Сколько над станом пару в сутки?

Он задумался.

— Много.

— Вот это «много» я и буду мерить, — сказал я. — А потом приду к хозяину и скажу: Радыш, у тебя полстана работает на то, чтобы варить воду, которую ты сам налил. И тогда, может, он отдаст долю не мне, а тебе.

Радыш долго смотрел на меня.

— Не отдаст, — сказал он.

— Почему?

— Потому что он не злой, — сказал Радыш. — Он просто считает так, как ему выгодно считать. — Он помолчал. — У нас так все считают, хранитель. И я тоже. Я про Косну спрашиваю, а сам думаю: если чан станет, кто мне заплатит три щепы?

Он ушёл.

Я стоял на крыльце с тетрадью в руке, и в тетради у меня было четыре числа, доска с расчётом, который переворачивал триста лет варки, и ни одного человека, который бы мне поверил.

Глава 5. Замеры

Третий чан Нижнего стана был старый и стоял в стороне, у самой воды, так что воды в него натекало снизу, и Фрол сказал, что поэтому его и не варят.

— Натекает? — спросил я.

— По днищу. — Фрол показал на тёмное пятно у основания. — Через щель. Мы её замазывали, но она опять расходится.

Я сел на корточки и посмотрел.

Щель была в две ладони длиной, узкая, и из неё сочилась вода. Я взял её на палец и лизнул.

Солёная.

— Фрол, — сказал я. — А рассол в чан откуда идёт?

— По трубе. Вон она.

Труба была чугунная, в две руки толщиной, и шла от стены навеса к чану, а от чана — дальше, под землю.

— Куда дальше?

— В реку, — сказал Фрол. — Отработанное.

Я встал и посмотрел на реку.

Вода в реке у стана была солоноватой на вкус — я это знал ещё вчера, потому что пил её утром и не понял, почему чай отдаёт солью.

— Понял, — сказал я.

Опыт я поставил так, как поставил бы его у себя на заводе, если бы мне дали старый чан, трёх работных и два дня.

Сначала — крепость рассола.

Соляной меры у них не было, и я её сделал: взял узкую деревянную кадушку, налил в неё воду из колодца, опустил туда деревянный поплавок с грузиком из свинца и отметил, насколько он сел. Потом бросил в воду восемь ложек соли — и поплавок поднялся. Ещё восемь — поднялся ещё. Так я разметил поплавок на двадцать частей, и каждая часть означала одну долю соли на сотню ведер.

Фрол смотрел на это, как смотрят на фокус.

— И что он показывает? — спросил он.

— Что в реке — ничего, — сказал я. — Что в колодце — двадцать девять. Что в твоём чану — семнадцать.

— А сколько надо?

— Столько, сколько в колодце. — Я опустил поплавок в кадушку с рассолом из бочки. — Если в чану двадцать девять, ты варишь рассол. Если семнадцать — ты варишь воду с воспоминанием о соли.

Фрол молчал.

— И сколько дров уходит на воду? — спросил он наконец.

— Считай сам. — Я дал ему уголёк. — Полторы сажени на чан. Из сорока ведер двадцать три — вода. Значит, чуть больше половины дров уходит в воздух.

Он посчитал и положил уголёк.

— Хранитель, — сказал он. — А если не доливать?

— Тогда чан будет полон на две трети, и соль пригорит.

— А если нагревать не так сильно?

— А вот это мы сейчас и проверим.

Второй опыт был длиннее.

Мы взяли четыре ведра рассола прямо из бочки — двадцать девять частей, — налили в котёл и поставили на плиту. Развели под плитой огонь — небольшой, чтобы не бурлило, а только держало пар.

И я стал ждать.

Сначала ничего не было видно. Потом над котлом пошёл пар — сначала редкий, потом густой, и я заметил то, чего никогда не замечал раньше, потому что никогда не смотрел на пар глазами человека, который считает деньги: пар шёл ровно, и в нём не было ни запаха, ни цвета, и уходило его столько, что если бы его можно было вернуть, то это была бы половина моей зарплаты.

Через два часа на дне стало бело.

— Всё? — спросил Фрол.

— Нет. — Я сунул палец в котёл. — Ещё густо. Вот теперь гребь.

Фрол выгреб.

Соли вышло полторы меры — мера у них была деревянная, в полпуда. Значит, три четверти пуда с четырёх ведер.

Я сел и посчитал.

В четырёх ведрах рассола двадцать девять частей — это около фунта и двух золотников соли. Четверть пуда с небольшим. А вышло три четверти.

— Фрол, — сказал я. — Ты соль с ведрами не взвешивал.

— Как не взвешивал?

— А вот так. — Я показал ему расчёт. — Ты выгреб из котла всё, что выпало, и в том, что выпало, половина — не соль, а грязь и мел, который тоже падает на дно, если варить долго. Ты не довариваешь рассол и не перевариваешь, а варишь наугад.

Фрол смотрел на расчёт, и лицо у него было такое, будто я сказал ему, что земля круглая.

— И что теперь? — спросил он.

— Теперь мы сделаем так, — сказал я. — Кипятим, пока не станет густо, и всё время меряем поплавком. Как только рассол в котле станет вдвое крепче — значит, половина воды ушла, и тогда гребь. Тогда у тебя в мере будет соль, а не мел, и дров уйдёт вдвое меньше.

Мы сделали так.

Соли вышло полторы меры — столько же. А дров ушло на треть меньше. И пар, которого поднялось над котлом, был легче — я это видел по тому, как он расходился.

К вечеру у меня в тетради было написано:

«Крепость рассола — двадцать девять. Варка без долива — выход тот же, дров на треть меньше. При крепости двадцать девять и полном чану из сорока ведер выходит сорок два пуда вместо тридцати. При цене две копейки — восемьдесят четыре копейки с чана. Дров — сажень».

— Фрол, — сказал я. — Ты понимаешь, что это значит?

— Нет.

— Это значит, что при том же тепле вы можете варить в полтора раза больше соли. — Я постучал по тетради. — Не потому, что я дал вам тепло. Потому что я перестал лить в чан реку.

Фрол долго молчал.

— Хранитель, — сказал он. — А почему дед так не делал?

— Потому что дед мерил на язык, — сказал я. — И потому что у деда не было поплавка. Он засмеялся — первый раз за два дня.

Зждана в это время занималась своим, и её работа была труднее моей.

Ей нужно было измерить, сколько тепла приходит от жилы, сколько уходит на варницы и сколько пропадает зря — и всё это без приборов, с бочкой, ведром, водой и часами, которых у нас не было.

Она придумала так: наливать в бочку воду, ставить её на плиту у чана и считать, за какое время вода нагреется на столько, чтобы рука терпела только до счёта «двадцать». От этого она переходила к тому, сколько тепла даёт плита. А потом ставила ту же бочку на холодную плиту у второго чана — и получала разницу.

Она мерила четыре дня, днём и ночью, и в конце сказала:

— Садись.

Мы сели на чурбак у амбара.

— Я насчитала так, — сказала она. — Через плиту у Верхнего чана проходит столько тепла, что на нём можно выпарить сорок ведер в четыре часа. Через плиту у Нижнего — вдвое меньше, хотя чан больше.

— Вдвое?

— Вдвое. — Зждана показала на бумагу, где у неё были нарисованы чёрточки. — И вот что я тебе скажу, Глеб: тепло уходит не в чаны. В чаны идёт треть. Остальное уходит в стену.

— В стену?

— В стену и в землю. — Она повела рукой. — Труба от этой щели идёт через стан и уходит дальше в реку. Мы её нашли: она выходит в воду за амбаром, и от неё в реке полынья, даже в стужу.

Я встал.

— Зждана, — сказал я. — Ты хочешь сказать, что варницы греют реку?

— Я хочу сказать, что варницы греют реку, — сказала она. — И что если поставить на трубе у самого выхода из щели заслонку, то в чаны пойдёт вдвое больше тепла при той же щели.

Я сел обратно.

— Какая заслонка?

— Простая. — Зждана пожала плечами. — Камень и клин. Мы её поставим и будем держать рукой, а мерить — по бочке.

— И Смола не заметит?

— Заметит, — сказала Зждана. — Но не сразу. Тепла у него станет больше, а не меньше. Он обрадуется.

Я посмотрел на неё.

— Зждана, — сказал я. — А сколько в таком случае останется тепла тракту?

Она помолчала.

— Ничего не останется, — сказала она. — Потому что тракту и сейчас ничего не остаётся. Всё, что идёт от Сухого Лога на юг, Смола себе и берёт. Тебе дают только то, что идёт от тридцатой версты, — а там ствол сухой.

Ночью мы взяли фонарь и пошли за амбар, к реке.

Река у стана была чёрная, и в ней стояли отражения огней, и там, где труба выходила в воду, было пятно — не пар, а просто вода, которая не спала.

Пятно было сажен пять в поперечнике, и от него тянуло теплом, как от печи.

— Вот, — сказала Зждана. — Круглый год.

Я присел на берегу и посветил фонарём в воду.

Труба выходила из-под берега у самой кромки, и вода из неё шла ровно, не пульсируя, — так идёт вода из ствола, у которого много запаса.

А рядом с трубой, вросший в берег, лежал камень.

Он был не больше локтя, серый, с плоским верхом, и на плоском верху были выбиты чёрточки: длинный ряд чёрточек, одна подле другой, как считают годы.

Я посчитал их.

Сорок.

И рядом — сорок первая, свежая, с белым сколом по краю, будто её выбили этой осенью.

— Зждана, — сказал я. — Подойди.

Она подошла, посчитала и выпрямилась.

— Сорок один год, — сказала она. — А тракт стоит сорок лет.

— Вот именно, — сказал я. — Кто-то каждый год приходит к этой трубе и ставит чёрточку. Не к делёжке, про которую толкует поверенный, — сюда.

— И что это значит?

— Это значит, что у этого дела есть хозяин, — сказал я. — И он не Смола. Смола в книгу пишет, а не на камне режет.

Мы постояли у полыньи, и в чёрной воде качалось отражение фонаря.

— Глеб, — сказала Зждана. — Можно я тебе скажу одну вещь, и ты меня не перебежь?

— Скажи.

— Я в палате год сидела над описями, — сказала она. — Мне там предлагали место: рудознатец при палате, оклад, стол, свечи. Я отказалась.

— Почему?

— Потому что рудознатец при палате ищет то, что палате нужно найти, — сказала Зждана. — А я хочу мерить то, что есть. — Она кивнула на камень. — Вот это вот. Сорок одну чёрточку. И чтобы кто-то за это ответил, а не переписал в книгу.

— Зждана, — сказал я. — А если я попрошу тебя остаться здесь?

Она помолчала.

— Тогда палата запишет, что я отказалась от места, — сказала она. — И больше не предложит.

— А ты?

— А я подумаю, — сказала Зждана. — Не сейчас. Сейчас я хочу знать, кто из нас двоих будет держать заслонку, когда за ней станет горячо.

Она взяла фонарь и пошла к берегу, и я пошёл за ней.

Я сидел и смотрел на реку.

— Значит, — сказал я, — мне не нужно отнимать у него долю. Мне нужно открыть второй ток.

— Какой второй?

— Тот, который от делёжки, — сказал я. — Я тебе говорил: стволов два. Один идёт под трактом и сухой, а второй — от делёжки на юг, и он живой. Смола берёт живой. А под трактом — мёртвый, потому что его перекрыли сорок лет назад, когда ставили делёжку.

Зждана медленно кивнула.

— И ты хочешь вернуть перекрытый.

— Не вернуть. — Я встал. — Я хочу встать на делёжку. Своими ногами, с людьми, с мерой. Тогда по правилу доля будет моя, и я её не у Смолы отниму — я её возьму у ствола.

— А если на делёжке уже стоят?

— Кузьма Ильич сказал, что доля есть у того, кто стоит, — сказал я. — Он сказал, что тракт не стоит. Значит, там никого нет.

Зждана посмотрела на меня и сказала:

— Глеб, ты сказал это так, будто не веришь.

И она была права: я и вправду не верил.

На делёжке, на сто десятой версте, у Сухого Лога, было всё то же, что и на семидесятой: колодец, к которому не зарастала тропа, примятая трава вдоль обочины и старый журавль, скрипевший на ветру.

Но кроме этого там была яма.

Она была обложена камнем и накрыта тяжёлой крышкой из лиственницы, а крышка держалась на обруче и на замке — и замок был свежий, смазанный, и на нём висела бирка с двумя буквами.

«Д».

Я стоял над крышкой и смотрел на неё, а Зждана стояла рядом и молчала.

— Замок, — сказал я. — На делёжке замок.

— Да.

— Сорок лет, — сказал я. — Тракт мёртвый, по нему никто не ходит, а на делёжке новый замок.

Зждана наклонилась и потрогала его пальцем.

— Не новый, — сказала она. — Смазанный. Ему лет десять, а может, и двадцать: он не ржавый, потому что его мажут.

— Кто мажет?

— Тот, кто стоит, — сказала Зждана.

Ветер качнул журавль, и он заскрипел.

Я сел у колодца, достал тетрадь и стал считать — потому что когда мне страшно, я считаю.

Сто десятая верста. Отсюда идёт ток на юг, к варницам, — это тот, который берёт Смола. Отсюда же, по моим расчётам, должен идти ток на север, под трактом, — и он сухой.

Значит, на делёжке есть то, чем один ток отделяют от другого. Крышка, замок, заслонка, камень — что-то есть. И это что-то стоит сорок лет, и его мажут.

— Зждана, — сказал я. — Если мы снимем замок и откроем заслонку, что будет?

— Или тракт оживёт, — сказала она. — Или варницы встанут.

— Или и то и другое сразу, — сказал я. — Только в разное время.

Она села рядом.

— Глеб, а тебе не приходит в голову, — сказала она, — что замок висит не для того, чтобы кто-то не вошёл, а для того, чтобы никто не узнал, что внутри?

Я посмотрел на бирку с буквой «Д».

— Приходит, — сказал я.

И тут за нашими спинами кто-то кашлянул.

Мы обернулись.

На тракте, в двадцати шагах, стоял человек в дорожном кафтане, с сумкой через плечо, и смотрел на нас спокойно и внимательно, как смотрят, когда застали за делом, которое и так знали.

— Доброго дня, — сказал он. — Вы, стало быть, и есть хранитель Ветров?

— Я.

— А я подъячий палаты, — сказал он и достал из сумки лист. — Мне велено описать всё, что на сто десятой версте, и всё, что вы тут сделаете.

Глава 6. Второй котёл

Подъячего звали Тихон Маркелович, и он был не из тех людей, которых можно прогнать.

— Мне велено описывать, — сказал он, когда я предложил ему идти спать. — Я и описываю. Вот тут у меня лист, а на листе: «сто десятая верста, яма, крышка лиственничная, замок, бирка». Всё как есть.

— А зачем палате яма на тракте?

— Не знаю, — сказал он с удовольствием. — Мне велено описывать, а не знать.

Он устроился у нас на стане, в избе для приезжих, и каждый день ходил за мной с листом и чернильницей, висящей на поясе, и записывал всё: сколько я отмерил, сколько снял, что сказал Фрол, сколько раз я ударил молотком.

— Тихон Маркелович, — сказал я на третий день. — А вас не смущает, что вы пишете про меня больше, чем я делаю?

— Не смущает, — сказал он. — Потому что в конце каждого месяца я сдаю лист, и в листе должно быть видно, что я был.

Мы с ним потом сработаемся, но тогда я его едва терпел.

А дело у меня было такое.

Мне нужно было узнать две вещи, без которых весь мой счёт ничего не стоил.

Первая: сколько на самом деле дров нужно, чтобы выпарить пуд соли, если жильное тепло не идёт вовсе. Вторая: сколько эта соль будет стоить — потому что Смола назвал мне полкопейки с пуда, и я ему не поверил.

Почему не поверил — объясню.

Смола сказал: полторы сажени дров на пуд. Я это записал и потом всю ночь пересчитывал, потому что сойтись не мог. Полторы сажени — это саженный штабель, в три аршина на сажень; это, по здешним ценам, шестьдесят копеек. Пуд соли в Усть-Соли — две копейки. Значит, выходит, что Смола тридцать лет продаёт соль в тридцать раз дешевле, чем ему обходится варка. Так не бывает.

— Фрол, — сказал я утром. — Пойдём на дровяник.

Дровяник стоял за Нижним станом: навес, а под навесом поленница длиной в двадцать саженей и высотой в две.

— Сколько тут? — спросил я.

— Полторы тысячи саженей, — сказал Фрол. — Мы ставим с осени на весь год, чтобы зимой не возить.

— И хватает?

— Хватает. — Фрол подумал. — Почти. В межень докупаем.

— На сколько чанов?

— На все восемнадцать.

Я сел на чурбак и стал считать, и на этот раз всё сошлось с первого раза.

Полторы тысячи саженей на восемнадцать чанов — восемьдесят три сажени на чан в год. Чан варит триста дней, стало быть, четверть сажени в сутки. А в сутки чан даёт тридцать пудов — значит, на пуд уходит одна сто двадцатая сажени.

Одна сто двадцатая.

— Смола мне сказал «полторы сажени на пуд», — сказал я Фролу.

— Смола? — Фрол удивился. — Он же сам эту поленницу ставит.

— А он в ней считает?

— Он в книге считает.

Я не стал ничего говорить. Я сидел и думал, как это могло случиться, и, кажется, понял.

Смола взял цифру «полторы сажени» из старой записи, где считали не на пуд, а на выварку: полторы сажени на выварку, то есть на чан. Деды писали «выварка», а он прочёл «пуд». И сорок лет боялся дров, которых было в сто двадцать раз меньше, чем он думал.

— Фрол, — сказал я. — А сколько стоит сажень?

— Сорок копеек. — Фрол подумал. — С доставкой — сорок две.

Я посчитал на доске.

Одна сто двадцатая сажени по сорок две копейки — это треть копейки на пуд. С доставкой, с подвозом, с тем, что дрова надо ещё свалить и распилить, — пусть копейка. Пуд соли в Усть-Соли стоит две. С дровами он станет три.

Три копейки.

Я сидел на чурбаке и смотрел на поленницу, и во мне было то чувство, которое бывает, когда разбираешь машину и вдруг видишь, что её сломал не износ, а одна перевёрнутая шайба.

— Фрол, — сказал я. — А если мы поставим котёл и будем варить на дровах, вы сможете?

— Сможем, — сказал Фрол. — Мы так и варим, когда жила ослабнет.

— А почему не всегда?

— Потому что дрова дорогие, — сказал Фрол. И добавил, подумав: — Так говорят.

— А ты сам считал?

Он помолчал.

— Нет.

Вот с этого и начался второй котёл.

Котёл мы поставили на Нижнем стане, в сарае, где раньше держали рогожу, и он был не чан, а медный котёл в два ведра — я хотел не варить, а мерить.

Четыре ведра рассола. Крепость — двадцать девять. Огонь под котлом — ровный, чтобы не бурлило.

И рядом — весы, которые я сделал из палки и двух гирь: гирями были камни, взвешенные Фролом на станционных весах, а палка была коромыслом.

Мы варили четыре раза.

Первый раз — с доливом реки, как делают на стане. Вышло полторы меры соли, дров ушло две сажени.

Второй раз — без долива, до густоты, как я показал Фролу. Вышло две меры соли, дров ушло полторы.

Третий раз — и тут я сделал глупость, о которой потом жалел: я велел пустить огонь в полную силу, чтобы «быстрее». Рассол вскипел, ударил через край, и в лоток вместе с солью пошла пена, а в пене — мел и грязь. Вышло полторы меры, и половина была не соль.

Четвёртый раз мы варили медленно, и Фрол мешал сам, согласно кивая.

Две меры. Полторы сажени дров. Час и сорок минут.

Вечером, когда соль была выгребена и записана, в сарай пришёл Радыш.

Он стоял в дверях, держа шапку в руках, и не проходил дальше порога.

— Хранитель, — сказал он. — Ты над котлом этим... навес ставить будешь?

— Буду.

— С вытяжкой?

Я обернулся.

— Радыш, — сказал я. — Откуда ты знаешь слово «вытяжка»?

— Так у нас на Среднем был навес с вытяжкой, — сказал он. — Старый, дедовский. Его в шестьдесят втором году сняли, потому что дров на него не напасёшься: он тепло из-под навеса забирал. — Радыш помялся. — А без него пар стоит, и глаза.

— А если вытяжку делать не над огнём, а над чаном? — сказал я. — Тогда тепло из-под навеса не уйдёт, а пар уйдёт.

Он подумал.

— Тогда уйдёт.

— Значит, сделаем, — сказал я. — На один чан, попробуем. И если у Косны через месяц станет легче — сделаем на все.

Радыш стоял и не уходил.

— Хранитель, — сказал он. — Двенадцать слепых получают милостынную долю. Три щепы в неделю. Хозяин не жадный, он даёт.

— И?

— И я не хочу, чтобы их стало двадцать.

Он надел шапку и вышел, и я стоял над котлом и думал, что если у меня в этой книге будет только один настоящий замер, то пусть это будет замер навеса с вытяжкой.

Я всё записал, а Тихон Маркелович всё записал за мной, и я тогда в первый раз подумал, что из его листа выйдет толк.

— Фрол, — сказал я вечером. — Считаем.

— Считаем.

— В котле двадцать девять частей. Из четырёх ведер выходит две меры, то есть пуд. Дров — полторы сажени на четыре ведра. Стало быть, на пуд — полторы сажени.

Он уставился на меня.

— Хранитель, ты же сам говорил: сто двадцатая.

— Я говорил про чан, — сказал я. — А теперь слушай внимательно и не путай, потому что я сам чуть не запутался. В чану сорок ведер, и дров на него идёт четверть сажени в сутки — но чан греется жилой, и дрова только держат тепло. Если греть дровами от начала и до конца, то дров надо в шесть раз больше, потому что плита от жилы даёт тепла как две сажени дров в сутки.

Фрол долго молчал.

— И сколько тогда пуд? — спросил он.

— На пуд — треть сажени, — сказал я. — Сажень сорок две копейки. Значит, тринадцать копеек дров на пуд. А пуд в Усть-Соли — две.

Он сел на чурбак.

— Тринадцать копеек, — сказал он. — Хранитель, это же разорение.

— Это не разорение, — сказал я. — Это ответ на другой вопрос. — Я присел напротив. — Фрол, смотри. Если варить дровами от начала и до конца, соль станет пятнадцать копеек вместо двух. Продать её нельзя. Значит, дрова — не замена жиле. Дрова — это то, чем варят, когда жилы нет вовсе, и тогда соль дороже в семь раз.

— И зачем ты тогда это варил?

— Затем, что теперь я знаю главное, — сказал я. — Пуд соли без жилы сварить можно. Он выйдет в пятнадцать копеек, и его никто не купит. Но если греть так, чтобы не кипело, и не доливать реку, и гребь вовремя — то треть дров уйдёт в воздух, а не в соль, и выйдет семь копеек.

Фрол считал на пальцах.

— Семь копеек за пуд, — сказал он. — А в Студёнце соль по одиннадцать.

— Вот! — Я встал. — Вот именно. В Студёнце одиннадцать. До Студёнца двести вёрст по мёртвому тракту, и туда никто не возит. А если тракт встанет, соль из Усть-Соли пойдёт в Студенец за четыре дня, и её там будет не по одиннадцать, а по восемь, и всё равно с прибытком.

— Хранитель, — сказал Фрол. — А где ты возьмёшь дрова на все восемнадцать чанов?

— А вот это второй вопрос, — сказал я. — И он дороже первого.

Мы сели и посчитали, и я потом эту ночь вспоминал много раз, потому что именно в неё я понял, чего стоит мой тракт.

Восемнадцать чанов, если варить дровами, — четыреста пятьдесят тысяч пудов дров в саженьях: пятнадцать тысяч саженьей в год. Это лес, который надо свалить, вывезти и сложить. Это триста возов. Это дорога от леса до стана, которой нет.

— Сколько у вас леса? — спросил я.

— Лес вёрст за двадцать, за рекой, — сказал Фрол. — Княжий.

— Княжий — это как?

— Княжий. — Фрол пожал плечами. — Рубить можно, если заплатить. Платят через палату.

Я отложил перо.

— Фрол, — сказал я. — А знаешь, что самое скверное?

— Что?

— Что всё это можно сделать. — Я показал на расчёт. — Всё сходится: лес, возы, дрова, котлы. Дровяная соль дороже на копейку, но она есть. Жильная соль дешевле, но её тепло уходит Смоле. И только тракт — тот, который должен возить эту соль, — стоит и гниёт, потому что сорок лет назад кто-то поставил на делёжке замок.

Фрол смотрел на меня.

— А тебе-то что до тракта? — спросил он. — Ты хранитель. Тебе палата велела тракт держать, а не варницы считать.

— Мне велела палата, — сказал я. — А палата сидит в Вересовом Посаде и в Усть-Соли не была ни разу.

Он засмеялся, потом перестал.

— Хранитель, — сказал он. — А ведь ты мне сейчас сказал, что можно варить без жилы.

— Сказал.

— Тогда зачем тебе жила?

— Затем, — сказал я, — что с жилой соль в Усть-Соли стоит две копейки, а без жилы — семь. И вся разница идёт в цену хлеба у людей, которые живут в трёхстах верстах отсюда и никогда в жизни не видали ни чана, ни Смолы.

Фрол долго молчал, а потом сказал:

— Я думал, ты про деньги.

— Я про деньги, — сказал я. — Только не про свои.

Утром пришёл Смола.

Он пришёл пешком, без подводы, и стоял у сарая и смотрел на котёл, и лицо у него было тяжёлое.

— Показывай, — сказал он.

Я показал: котёл, весы, меру, тетрадь.

— Вот тут, — сказал я, — ваши полторы сажени. И вот тут ваша копейка. А вот тут — цена пуда без жилы.

Смола взял тетрадь.

Он читал долго и медленно, водя пальцем по строкам, как читают люди, которые выучились грамоте поздно.

Потом он дошёл до места, где я написал про дровяник и про выварку, и остановился.

— Это кто писал? — спросил он.

— Я.

— Тут сказано, что полторы сажени — на выварку, а не на пуд.

— Сказано.

Смола опустил тетрадь и посмотрел в сторону реки.

— Сорок лет, — сказал он.

— Сорок лет, — сказал я. — Кузьма Ильич.

— Мне это отец говорил. Полторы сажени на пуд, сын, запомни. Я запомнил.

— Он не соврал, — сказал я. — Он сказал «на выварку». А вы слышали «на пуд».

Смола стоял и молчал, и в тишине было слышно, как под навесом Фрол выгребает соль.

— И что теперь? — спросил он наконец.

— Теперь вы знаете, что дровяная варка вам по силам, — сказал я. — Не на всех чанах.

На одном, на двух. И тогда я вам скажу то, что мне нужно.

— Говори.

— Мне нужна доля. — Я посмотрел ему в глаза. — Половина тепла, которое сейчас идёт от делёжки на юг.

Смола покачал головой.

— Не дам, — сказал он.

— Кузьма Ильич.

— Не дам, — повторил он. — И не потому, что мне жалко. — Он поднял тетрадь. — Ты мне сейчас дал бумагу, по которой я могу варить без жилы. А кто мне даст бумагу, по которой я могу отдать половину тепла и не отвечать перед палатой за недовар?

Я стоял и смотрел на него.

Он был прав. Опять.

Тепло ему не принадлежало — оно было записано в книге варниц. И отдать половину он не мог, потому что книга не позволяла: в книге стояла делёжка, подпись и доля. Всё, что он мог, — это варить.

— Кузьма Ильич, — сказал я. — А если я принесу бумагу?

Он усмехнулся.

— Какую бумагу?

— Такую, — сказал я, — чтобы в ней было записано: на делёжке стоят люди. Не в книге, а на земле. И что тепло делится между ними по правилу, а не по обычаю.

Смола смотрел на меня довольно долго.

— Тогда принесите, — сказал он. — И знайте: я первый поставлю под неё руку.

Глава 7. Подпись поверенного

В Усть-Соль мы поехали на двух подводах: я, Зждана, Демьян и Тихон Маркелович, который к тому времени уже писал про нас не через день, а каждый день, потому что «в листе должна быть густота».

Дорога от варниц до Усть-Соли была восемь вёрст, и по ней возили соль — сорок возов в неделю, — и потому она была убита так, что колёса шли по колеям глубиной в полголода.

— Вот, — сказал я Зждане, показывая на колеи. — Вот она, дорога.

— Это не тракт.

— Это хуже тракта, — сказал я. — Тракт я могу поднять, потому что он мой. А это — Смолина дорога, и он её не чинит, потому что она и так возит.

В Усть-Соли было людно.

Тут стоял соляной дом — не изба, а каменное строение в два этажа, с толстыми стенами и соляными амбарами во дворе, — и у ворот сидели на лавке возчики и ждали очереди на взвешивание.

Нас провели наверх.

Книга варниц лежала не на полке, а на столе, на толстой подставке, и была она в две ладони толщиной, в кожаном переплёте с двумя застёжками, и от неё пахло пылью и воском.

— Восемьсот двенадцать листов, — сказал Сычёв. — С тысяча двести девятого года.

— Покажите делёжку, — сказал я.

Он открыл книгу на середине.

Лист был исписан двумя руками: одна писала крупно, другая мелко, и между строк шли пометки.

— Вот, — сказал Сычёв. — Запись сорокового года. «В лето седьмое, месяца студня, в день двенадцатый, на сто десятой версте, у колодца Сухой Лог, соляной дом и варницы учинили делёжку тепла от жилы. Варницам — доли три. Тракту — доля одна. Держателем делёжки быть тому, кто на делёжке стоит и её держит. Подписи: поверенный соляного дома Кузьма Ильич Сычёв, от варниц — Аким Фролович Смола, от палаты — дьяк Лаврентий Обух».

Я читал и перечитывал строку про держателя.

«Держателем делёжки быть тому, кто на делёжке стоит и её держит».

— Кузьма Ильич, — сказал я. — Здесь сказано: три доли. А сколько всего долей?

— Четыре.

— Значит, тракту одна из четырёх.

— Значит, так.

Я перевернул лист.

Дальше шла приписка, и приписка была другими чернилами:

«А понеже тракт с сего числа в держании не состоит и держателя не имеет, долю трактову до времени передать варницам с тем, чтобы, когда держатель объявится, возратить оную по слову схода и по подписи поверенного».

Я поднял глаза.

— «До времени», — сказал я. — Здесь написано: до времени.

— Написано, — сказал Сычёв спокойно.

— И когда держатель объявится, долю возвращают.

— По слову схода, — сказал Сычёв. — И по подписи поверенного. Схода не было сорок лет, потому что тракт не держал никто.

Я сел.

Вот оно. Я сидел в каменном доме над книгой в восемьсот листов и смотрел на слова, написанные сорок лет назад мелкой рукой, и понимал, что передо мной не отговорка, а лазейка — простая, узкая, но настоящая.

Только в этой лазейке было две двери, и обе были заперты: нужен сход и нужна подпись поверенного.

— Кузьма Ильич, — сказал я. — А почему вы мне об этом не сказали?

— Потому что вы бы сразу побежали на делёжку, — сказал Сычёв. — И сняли замок.

— А замок?

— А замок не мой, — сказал он. — Мой — только один: на сарае с солью.

Он сказал это очень спокойно, и я вдруг понял, что до сих пор не знаю, кому принадлежит замок на делёжке, и что об этом я ещё спрошу.

— Покажите мне подписи, — сказал я.

Он показал подписи за сорок лет — все, до одной.

Их было сорок. Сорок листов, и на каждом стояло три подписи, и на каждом стояло одно и то же — только с числом.

«...на варницы три доли, на тракт одна».

Год за годом. Одна и та же строка. Одна и та же рука — Сычёв подписывал каждый год сам, а с ним подписывали от варниц и от палаты.

А потом я дошёл до последнего листа и остановился.

На последнем листе стояло:

«В лето сорок седьмое, месяца листопада, в день осьмой, на сто десятой версте... на варницы доли три с половиною, на тракт доля одна».

— С половиною, — сказал я вслух.

— С половиною, — сказал Сычёв. — Я вам об этом говорил.

— Но ведь тогда всего долей пять. — Я посмотрел на него. — Если варницам три с половиною и тракту одна, то откуда взялась половина?

Сычёв молчал.

— Кузьма Ильич, — сказал я. — Половину нельзя взять из доли, которой нет. Половину можно взять только из общей меры. — Я наклонился над книгой. — Значит, вы эту половину не у Смолы взяли. Вы её взяли из ничего.

— Не из ничего, — сказал Сычёв. — Из запаса.

— Какого запаса?

Он встал и подошёл к окну.

— Хранитель, — сказал он. — Я вам расскажу одну вещь, и вы потом не говорите, что я вас не предупреждал. Я четыре года подписываю «с половиною», потому что жила отдаёт больше, чем в записи. В книге заложено три доли и одна, а ствол даёт пять, а иногда и пять с четвертью.

— И лишнее?

— Лишнее уходит в землю, — сказал Сычёв. — Или в реку. Или в пар. — Он обернулся. — Я не знаю куда. Я не рудознавец. Я знаю, что запись от сорокового года не сходится с тем, сколько в стволе тепла, и что мне каждый год нужно решать, куда девать то, чего нет в записи. И я решаю: отдаю варницам. Потому что варницы — это работа, а тракт — это строчка.

Я закрыл книгу.

— Кузьма Ильич, — сказал я. — Значит, вы сорок лет подписывали лист, где сказано «тракту одна доля», и сорок лет отдавали её варницам, приписывая им половину, и всё это время на делёжке стоял замок, а тепла в стволе было больше, чем в книге.

— Так.

— И вы не задавали себе вопроса, почему?

— Задавал, — сказал Сычёв. — Первые десять лет.

— А потом?

— А потом я стал подписывать.

Он вернулся к столу и сел напротив меня.

— Хранитель, — сказал он. — Я вам скажу то, что не сказал бы никому. Когда я был молодой, я возил жалобу в палату. Два раза. Первый раз мне ответили, что делёжка — дело соляного дома, а палата в неё не входит. Второй раз ответили, что если тракт не держит никто, то и доли у тракта нет, и что мне следует помнить о соляном сборе, который палата собирает с варниц.

— И вы запомнили.

— Я запомнил, — сказал Сычёв. — Я запомнил, что человек, который приходит в палату с вопросом про тепло, уходит из палаты с вопросом про сбор.

Тихон Маркелович скрипнул пером.

— А это вы зачем пишете? — спросил Сычёв.

— Всё, что вижу, — сказал подьячий с удовольствием.

Сычёв посмотрел на него и ничего не сказал, и я в первый раз увидел, что поверенный соляного дома и подьячий палаты друг друга не любят.

Дальше разговор пошёл не так, как я думал.

— Кузьма Ильич, — сказал я. — Мне нужно, чтобы вы подписали.

— Что подписали?

— Лист о том, что держатель тракта объявился.

Сычёв покачал головой.

— Не подпишу.

— Почему?

— Потому что держатель — не тот, кто объявился. — Он поднял палец. — Сороковой год: «тот, кто на делёжке стоит и её держит». Стало быть, вам нужно встать на делёжке. С людьми. Не на день — на срок, который сход признает.

— И сколько это — срок?

— Год, — сказал Сычёв. — По обычаю — год. Если стоишь год и держишь, то на следующий год сход решает, быть тебе держателем или нет.

Я молчал.

Год. Сто человек. Замеры каждый месяц. И всё это — без соли, без дороги, на мёртвом тракте, у запертой ямы.

— Хорошо, — сказал я. — Год.

— И ещё одно, — сказал Сычёв. — Подпись поверенного ставится не раньше схода. Сход — в Усть-Соли, у соляного дома, и на сходе должны быть кресты: от варниц, от посада, от держателей тракта.

— Сколько крестов?

— По обычаю — семьдесят четыре.

Я посмотрел на Зждану.

— Семьдесят четыре креста, — сказала она. — Глеб, у тебя на тракте сорок человек, и половина из них неграмотные.

— Крест ставит неграмотный, — сказал Сычёв. — Крест — это не подпись, это согласие. Его и пальцем можно.

— И где я возьму семьдесят четыре?

— А это уж ваше дело, — сказал Сычёв. — Сход — не моя выдумка. Сход — это то, чем здесь решают всё, от цены на соль до того, кому быть старостой.

Я встал и пошёл к двери, но у двери обернулся.

— Кузьма Ильич, — сказал я. — А почему вы мне всё это рассказываете? Вы же за варницы.

Он долго молчал.

— Потому что я сорок лет подписываю лист, в котором написано «тракту одна доля», — сказал он. — И каждый год думаю: если однажды кто-нибудь придёт и спросит, отчего мы записали тракт в доли, а держать его не поставили, — что я ему скажу?

— И что вы скажете?

— Я скажу: «Потому что нам так было спокойнее». — Сычёв посмотрел на меня. — А вам, хранитель, я скажу другое: вы год простоите, а на второй год вас сход не признает, если у вас не будет в руках того, что я вам покажу.

Затем он открыл нижний ящик стола и вынул оттуда папку о четырёх листах.

— Что это?

— Опись, — сказал Сычёв. — Сто десятой версты. Сделана в шестьдесят девятом году, по указу палаты, рудознатцем. — Он положил папку на стол. — Тут про делёжку написано всё: и глубина, и два ствола, и то, что один из них перекрыт. И ещё тут есть рисунок.

Он развернул лист.

На листе был чертёж: две линии, сходящиеся в точке, и у точки — кружок. А рядом с кружком, в углу, вырезанная пером и обведённая чернилами, стояла буква.

«Р».

— Это что? — спросил я.

— Не знаю, — сказал Сычёв. — Рудознатец, который это делал, уехал через год и больше не вернулся. — Зждана подошла и наклонилась над листом.

Она смотрела на чертёж долго, потом попросила свечу, потом попросила линейку — и Сычёв, к моему удивлению, достал из ящика и линейку, деревянную, с делениями.

— Тут масштаб, — сказала она. — В верхке — верста. — Она приложила линейку. — Две линии сходятся вот здесь, и от этой точки вниз идёт кружок.

— Кружок — это яма, — сказал Сычёв. — Я сам туда лазил.

— Яма — вот она, — сказала Зждана и поставила палец. — А кружок — в четырёх верхках от ямы. Четыре верхка — восемь вёрст.

В комнате стало тихо.

— Что? — сказал Сычёв.

— Кузьма Ильич, — сказала Зждана. — Рудознатец нарисовал две линии, которые сходятся в точке, и обвёл эту точку кружком. Яма на сто десятой версте — вот она, рядом с дорогой. А точка — в восьми верстах на юг. — Она подняла глаза. — Делёжка не там, где замок.

Сычёв смотрел на лист.

— Я двадцать лет смотрю на этот чертёж, — сказал он медленно.

— И яма на сто десятой — это не делёжка, — сказала Зждана. — Это, — она обвела пальцем, — отвод. Кто-то поставил яму у самой дороги, чтобы всякий, кто приедет, нашёл её, и чтобы всякий, кто приедет, ушёл от неё с мыслью, что видел делёжку.

— И повесил на неё мой замок, — сказал Сычёв.

— И повесил на неё ваш замок, — согласилась Зждана. — И мажет его.

Тихон Маркелович перестал писать.

— Кузьма Ильич, — сказал я. — Вы сказали, что замок не ваш.

— Не мой.

— А чей?

Сычёв встал и закрыл окно, хотя было не холодно.

— В шестьдесят девятом году, — сказал он, — когда рудознатец уехал, в палате решили, что делёжку надо «привести в известность». Это значит: поставить у дороги знак, чтобы всякий видел, что здесь казённое место. Приехали двое из палаты, поставили яму, обложили камнем, накрыли крышкой и повесили замок.

— И?

— И с тех пор я каждый год посылаю человека смазать замок. — Сычёв смотрел в стол.
— Потому что если замок заржавеет, в палате спросят, кто за ним смотрит.

— То есть вы сорок лет охраняли пустую яму, — сказал я.

— Я сорок лет охранял место, — сказал Сычёв. — И я, выходит, охранял его для того, кто мне его подсунул.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.